

И. Кропоткинъ.

# Хлѣбъ и Воля.

(LA CONQUÊTE DU PAIN).



- [Предисловие автора](#)
  - [Предисловие.](#)
  - [Наши богатства\[1\]](#)
  - [Довольство для всех.](#)
  - [Анархический коммунизм.](#)
  - [Экспроприация.](#)
  - [Жизненные припасы.](#)
  - [Жилища.](#)
  - [Одежда.](#)
  - [Пути и средства.](#)
  - [Потребности, составляющие роскошь.](#)
  - [Привлекательный труд.](#)
  - [Свободное соглашение.](#)
  - [Некоторые возражения.](#)
  - [Наёмный труд в коллективистском обществе.](#)
  - [Потребление и производство.](#)
  - [Разделение труда.](#)
  - [Децентрализация промышленности.](#)
  - [Сельское хозяйство.](#)
  - [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
    - [6](#)
    - [7](#)
    - [8](#)
    - [9](#)
    - [10](#)
    - [11](#)
    - [13](#)
    - [14](#)
    - [15](#)
    - [16](#)
    - [17](#)
    - [18](#)
    - [19](#)
    - [20](#)
    - [21](#)
    - [22](#)
    - [23](#)
-

## Предисловие автора

В предлагаемой теперь, в русском переводе, книге — «La Conquête du Pain» — я постарался набросать идеал того, как могла бы совершиться социальная революция на началах анархического коммунизма.

Критикой существующего строя, как с точки зрения хозяйственной, так и с точки зрения политической, т.-е. разбирая также ходячие предрассудки насчёт Представительного Правления, а также Закона и Власти вообще, и стараясь подорвать их, — я занялся раньше, в «Paroles d'un Révolté» (в русском переводе — «Распадение современного строя»). Выводом из этого критического разбора являлась необходимость экспроприации, — т.-е. необходимость захвата обществом земли и всего накопленного богатства, нужных человечеству для производства и жизни, но находящихся ныне в частном владении... На этом моя работа — она печаталась в виде передовых статей в газете Le Révolté — была прервана арестом во Франции и тюрьмою.

Выйдя через три года из тюрьмы, я взялся за продолжение той же работы, в той же нашей газете «Le Révolté», перенесённой тем временем в Париж и впоследствии вынужденной судебным преследованием переменить своё имя в «La Révolté».

Приступая к изложению того, как, по нашему мнению, могла бы и должна была совершиться социальная революция, я думал, что лучше будет не описывать идеал вообще, а взять вещественный пример и показать на нём, как смело и разумно действуя во время революции, можно было бы перейти от теперешнего строя к коммунизму, — безначальному, анархическому; как сами обстоятельства будут толкать в этом направлении; и как от нас самих будет зависеть: — осуществить ли стремления, уже намечающиеся в современном обществе, или же — платя дань укоренившимся и далеко ещё не искоренённым предрассудкам, — пойти по старым дорогам холопского прошлого, не водворивши ничего существенного в направлении к коммунизму.

Как вещественный пример я взял Париж, и поступил так по следующим причинам:

Всякая нация, хотя бы и самая цивилизованная и самая передовая, представляет собою вовсе не одно целое, подведённое под один общий уровень. Напротив того, различные её части стоят всегда на весьма различных ступенях развития.

Даже Франция, несмотря на её две большие революции, 1789–1793 и 1848 года, — несмотря на громадный материальный *внутренний* прогресс, который совершился в стране в течение девятнадцатого века (не *внешний*, как в Англии, которая богатели наполовину грабежом Индии и других колоний), несмотря на громадную работу умов, вызванную во всех классах населения её бурною политической жизнью за последние сто лет, — несмотря на всё это, Франция представляет собою по прежнему агломерат, т.-е. бессвязное сожительство самых разнообразных частей. Её северо-запад даже в настоящее время отстаёт по крайней мере на полстолетия от её восточных частей. Великая Революция, т.-е. великое крестьянское движение, во время которого был уничтожен *выкуп крепостных*

*обязательств*, и крестьяне отобрали назад земли, захваченные у них за предыдущие двести или триста лет помещиками и монастырями, а также городские бунты, имевшие целью уничтожение городской, полукрепостной зависимости мастеровых и освобождение от почти самодержавной королевской власти, — это народное восстание распространилось, по преимуществу в юго-восточных, восточных и северо-восточных частях Франции; тогда как северо-запад и запад остались оплотом дворян и короля, и даже взяли за оружие, в Вандейском восстании, против якобинской республики. Но то же самое разделение страны на восток и запад существует и по сию пору; и когда, в начале обоснования теперешней республики, выборы в Палату должны были решить, чего хочет Франция — республики или возврата к монархии, — карта республиканских выборов (выбор 363-х республиканских депутатов) совпало с поразительной точностью с картою, на которой я как-то нанёс все известные мне крестьянские и городские восстания в 1788–1792 годах. Только со времени утверждения теперешней республики, республиканские идеалы начали проникать среди крестьян северо-западной и западной Франции.

Запад и восток Франции, её юго-восток и северо-восток, её центральное плато и долина Роны остаются отдельными мирами. И это различие резко выступает не только среди сельского населения этих областей (сельский полупромышленный кустарь французской Юры и бретонский крестьянин — две разные народности), но и среди городского населения. Сравните только Марсель, или Сент-Этьен и Руан, — с Ренном, где власть попов и вера в короля удержались ещё поныне!

Франция, несмотря на целые века государственной централизации, а тем более Италия, и более того Испания, — страны местной, самостоятельной и обособленной жизни, объединённой только поверхностно столичным чиновничеством. В сущности, латинские страны, и даже Франция в том числе, — страны глубоко федералистические, чего, между прочим, совершенно неспособны понять государственники-немцы и немецкие якобинцы, которые вечно смешивают ненавистный им «партикуляризм» (выросший вокруг Саксен-Кобург-Ангальтских и тому подобных дворов), и федерализм, т.-е. стремление к независимости у населения отдельных областей и городов.

В силу этого, для меня нет ни малейшего сомнения, что социальная революция во Франции — какой бы она ни приняла ход — будет иметь характер *местный, общинный*, а отнюдь *не якобинский, не всегосударственный*. Всякий передовой француз, знающий свою страну и не помешанный на якобинской централизации, отлично понимает (как понимал это Пи-и-Маргаль в Испании), что всякая революция проявится во Франции в виде провозглашения независимых коммун, — как это было в 1871 году, когда коммуны были провозглашены в Париже и Сент-Этьене, и попытки провозглашения коммуны были сделаны «бакунистами» в Лионе и Марселе. Какой бы ни заседал во Франции национальный парламент или конвент, — не в нём будут вырабатываться начала социальной революции, а в отдельных городах, которые так же мало будут слушаться парламента, как Париж в 1792 и 1793 годах мало слушался грозного конвента.

Весьма вероятно также, что развитие революции будет различное в различных

городах, и что, смотря по местным условиям и потребностям, в каждой восставшей и провозгласившей свою независимость коммуне люди попытаются по своему разрешить великий вопрос двадцатого века — социальный вопрос. Другими словами — если в латинских странах начнётся социальная революция, то эта революция примет, без всякого сомнения, такой живой, многообразный, местный характер, какой приняла «революция городов» в двенадцатом веке, которую так прекрасно описал, в её зарождении, Огюстен Тьерри. То же самое произойдёт несомненно в Англии, а также и в большинстве городов Бельгии и Голландии. И для меня нет никакого сомнения в том, что никаких шагов в социалистическом направлении (в смысле обобществления орудий производства) не будет сделано в России, покуда в *отдельных частях нашего громадного отечества*, при почине городов, не начнутся попытки *обобществления земли, прежде всего, и отчасти фабрик*, — и организации земледелия, а также, может быть, и фабричного производства на общественно-артельных началах.

Так как я писал в «Révoltè» для французских рабочих, то я взял, конечно, Францию, и именно Париж, как самый передовой город Франции, и я постарался показать как даже такой большой город, как Париж мог бы совершить у себя и в своих окрестностях социальную революцию, и как он мог бы дать ей укорениться, даже если бы ему пришлось — как пришлось республиканской Франции в 1793 году — выдержать нападение всех защитников гнилой старины.

В конце этой книги я был приведён к изучению вопроса, — «Что и как производить?». И я рассмотрел его, по мере сил, в следующей книге, озаглавленной по английски «Fields, Factories and Workshops» («Поля, фабрики и мастерские»).

*П. Кропоткин.*

Январь 1902 г.

## Предисловие.

Пётр Кропоткин просит меня написать несколько слов предисловия к его книге, и я исполняю его желание, хотя и чувствую при этом некоторую неловкость. Я ничего не могу прибавить к его связным доводам, и тем самым рискую ослабить силу его слов. Но дружба пусть послужит мне извинением. В настоящую минуту, когда французские «республиканцы» считают высшим проявлением изящного вкуса — валяться в ногах у русского царя, мне особенно приятно дружить с свободными людьми, которых этот царь охотно велел бы либо засечь, либо замуровать в какой-нибудь крепости, либо повесить в каком-нибудь безвестном углу своего царства. С этими друзьями я забываю на минуту всю гнусность ренегатов, которые в молодости до хрипоты кричали «Свобода! Свобода!», а теперь упражняются над согласованием «Марсельезы» с песнью «Боже, царя храни!».

Предыдущая книга Кропоткина, «Paroles d'un Révolté» («Распадение современного строя» в русском переводе) была посвящена, главным образом, горячей критике развратного и злого буржуазного общества и призывала энергию революционеров к борьбе против государства и капиталистического строя. Эта новая книга — продолжение предыдущей — более мирного характера. Она обращается ко всем честным людям, искренно желающим приложить свои силы к перестройке общества, и излагает им, в крупных чертах, те фазисы истории ближайшего будущего, которые позволят нам наконец построить истинную человеческую семью на развалинах банков и государств.

Заглавие книги «La Conquête du Pain» (в русском переводе — *Завоевание хлеба*) нужно, конечно, понимать в самом широком смысле, так как «не о хлебе едином сыт будет человек».

В настоящее время, когда смелые и великодушные люди стремятся уже осуществить в действительной жизни свой идеал общественной справедливости, — мы, конечно, не думаем довольствоваться завоеванием одного только хлеба, — даже с солью и вином в придачу. Нужно завоевать всё, что необходимо или даже просто полезно для разумно устроенной жизни; нужно, чтобы мы могли всем обеспечить, и удовлетворение их потребностей, и наслаждение в жизни. Но покуда мы не совершим этого первого «завоевания», — покуда «с нами будут нищие», — называть «обществом» это сборище друг друга ненавидящих и друг друга истребляющих людей, подобных диким зверям, вместе запертым в клетке, — называть это «обществом» будет оставаться только насмешкою.

В первой главе своей книги автор перечисляет громаднейшие богатства, которыми уже владеет человечество, и могучий строй машин, уже созданных трудами всех. Продуктов, получаемых теперь, уже хватило бы, чтобы всем людям обеспечить хлеб; а если бы громадный капитал, представляемый городами, домами, возделанными землями, фабриками, перевозочными средствами и школами, стал общим достоянием — вместо того, чтобы оставаться частною собственностью, — то уже легко было бы завоевать настоящее довольство для всех. Силы, которыми мы располагаем, шли бы тогда не на ненужные и друг другу противоречащие работы, а на производство всего того, что нужно человеку для продовольствия, жилища,

одежды, комфорта, для изучения наук и для разработки искусств.

Вернуться однако к общественному обладанию всеми богатствами, — совершить экспроприацию — можно будет только путём анархического коммунизма: нужно разрушить правительство, нужно порвать его законы, отвергнуть его нравственность, игнорировать его органы и самим взяться за дело, руководясь своею собственною инициативою, и группируясь согласно личным наклонностям, интересам, идеалу и характеру начатой работы. Разбором вопроса об экспроприации — самого главного в этом сочинении — автор и занялся всего подробнее: сжато и без резких слов, со спокойствием и ясностью взгляда, которых требует изучение близкой, отныне неизбежной революции. Только после низвержения государства группы свободных рабочих, не вынужденных более трудиться на пользу грабителей и тунеядцев, смогут предаться привлекательному, свободно избранному труду, вперемежку с учением и удовольствиями. Страницы этой книги, посвящённые разбору земледельческого труда, имеют особенно серьёзное значение, так как они излагают факты уже проверенные практикою, которые легко было бы приложить повсеместно, на пользу всем, а не для обогащения немногих.

Остроумные люди, желая осмеять пороки и странности элегантно́й молодёжи, говорят нам о людях «конца века» — *fin de siècle*. Но мы переживаем теперь нечто несравненно более важное, чем конец века; мы подошли к концу эпохи — к концу целой эры в истории. Мы видим завершение всей античной цивилизации. Право силы и каприз власти, жестокое еврейское предание и жестокое римское правосудие потеряли для нас своё былое значение. Мы исповедуем новую веру; и когда эта вера — которая и есть наука — станет верою всех ищущих истины, она начнёт переходить в своё воплощение, потому что основной закон истории тот, что общество всегда формуется сообразно своему идеалу. Тогда защитники отжившего строя вынуждены будут сдаться. Они утратили свою веру. Без вожака, без знамени, они уже сражаются как попало, наугад. Против новаторов у них есть, конечно, законы и ружья, полицейские с шашками и артиллерийские парки, — но всего этого недостаточно, чтобы пересилить *идею* — и весь старый порядок, основанный на фантазии правителей и на притеснении, вынужден будет быстро перейти в предание о далёком прошлом.

Конечно, неизбежно подступающая теперь революция, как бы глубоко ни было её значение в развитии человечества, будет похожа на предыдущие революции в том, что она не представит собою быстрого скачка: в природе их не бывает. Но можно смело сказать, что тысячами глубоких совершающихся уже изменений, анархическое общество уже давно начало развиваться. Оно проявляется всюду, где свободная мысль сбрасывает с себя путы буквы и догмата, везде, где гений исследователя отрывается от устарелых формул, где воля человека проявляется в независимых поступках: везде, где люди искренние, возмущившиеся против всякой наложенной на них дисциплины, сходятся по доброй воле, чтобы учиться друг у друга, и без всякого начальства стремиться завоевать свою долю жизни, своё право на удовлетворение своих нужд. Всё это — уже анархия, даже тогда, когда она бессознательна, — причём, однако, всё более и более развивается и сознание. Как же может она не восторгаться, когда у неё есть свой идеал и смелость воли, тогда

как толпа её противников, уже утратившая веру, даёт себя нести судьбе, восклицая: «Ничего не поделаешь: конец века!»

Революция, которая уже намечается, несомненно наступит, и наш друг Кропоткин пользуется своим правом историка, когда берёт за исходную точку день революции и излагает свои воззрения на то, как может общество вновь вступить в обладание коллективным богатством, созданным трудом всех, и когда он обращается к робким людям, вполне сознающим несправедливость существующего, но боящимся вступить в открытый бунт против общества, от которого они зависят, и материально, и в силу преданий. Все знают, что закон — гнусен и лжив, что судьи — прислужники богатых и притеснители бедных, что честная трудовая жизнь не всегда вознаграждается даже уверенностью в куске хлеба, и что при теперешних условиях лучшими средствами для «завоевания хлеба» и благосостояния бывает наглый цинизм биржевика и неумолимая жестокость ростовщика. Но вместо того, чтобы настроить свои мысли, свои желания, свои предприятия и поступки согласно своему разумному пониманию справедливости, большинство из них находит выход куда-нибудь в сторону, лишь бы избежать последствий прямого и откровенного выражения своих взглядов. Таковы, например, «нововеры», которые, не будучи в силах исповедовать «истинную веру» своих отцов, бросаются в какую-нибудь более оригинальную мистагогию, без определённых догматов, и теряются в тумане неясных чувств: становятся спиритами, розенкрейцерами, буддистами, чудотворами. Воображая себя последователями Шакья-Муни, но не давая однако себе труда освоиться с его учениями, эти меланхолические господа и эфирные дамы делают вид, будто ищут умиротворения в уничтожении нирваны.

Но так как эти «прекраснодушные» вечно толкуют нам об идеале, — то поспешим же их успокоить. Мы настолько материалисты, что мы, действительно, имеем слабость думать о пище, потому что нередко и её нам недоставало; и не достаёт её теперь миллионам наших славянских братьев — подданных русского царя — и многим другим миллионам людей. Но, кроме хлеба и кроме благосостояния и коллективного богатства, которое могла бы нам дать разумная обработка наших полей, — мы видим ещё, вслед за этим возникновение целого нового мира — мира, где мы вполне сможем любить друг друга и удовлетворять наши благородные стремления к идеалу, который страстные поклонники красоты, пренебрегающие материальной жизнью, выставляют как неугасаемую жажду их эфирных душ! Когда не будет более богатых и бедных, когда голодному не придётся более с завистью взирать на сытого, тогда настоящая прирождённая дружба сможет вновь развиться между людьми; и тогда религия взаимности, солидарности — которую всячески заглушают теперь — заступит место той неопределённой религии, которая рисует свои расплывающиеся образы на туманах небесного свода.

Революция не только сдержит свои обещания, но она сделает больше того. Она обновит самые источники жизни, очистивши нас от грязного соприкосновения со всякими видами полиции и избавляя нас от подлой заботы о деньгах, отравляющей наше существование. Тогда — каждый сможет свободно идти по своему собственному пути. Работник будет трудиться над тем, что ему будет сподручнее; изобретатель будет вести свои исследования без всякой задней мысли, художник не будет опошливать свой идеал красоты ради денег; и — ставши друзьями — мы



сможем трудиться, все сообща, над осуществлением великих деяний, которые провидели поэты.

Тогда, наверное, будут изредка вспоминать имена тех, которые своею преданною пропагандою, несмотря на изгнание и на тюрьму, подготовляли новое общество. Об них мы думаем теперь, издавая «Хлеб и Воля»: они почувствуют себя, может быть, немного сильнее, когда получат этот привет общей нашей мысли сквозь решётки своих тюрем или в изгнании. Автор наверное одобрит меня, если я посвящу эту книгу всем тем, кто страдает за общее дело, и в особенности одному другу, которого вся жизнь была долгою борьбою за правду. Мне незачем называть его имя: читая эти слова своего брата, он узнает себя по тому, как забьётся его сердце.

*Элизэ Реклю.*

1892 г.

Человечество прошло изрядный путь с тех отдалённых времён, когда человек, мастеря из кремня первобытные орудия, жил случайными добычами на охоте и детям своим оставлял в наследство только убежище в скале и плохие каменные орудия, да природу — огромную, непонятную, грозную, с которой они должны были вступить в борьбу, чтобы поддерживать своё жалкое существование.

В это смутное время, которое продолжалось много тысячелетий, род человеческий накопил неслыханные сокровища. Он распахал почву, осушил болота, прорубил просеки в лесах, провёл дороги; он строил, изобретал, наблюдал, рассуждал; создал сложные инструменты, вырывал у природы её тайны, покорила пар, — так что дитя цивилизованного человека, при своём рождении, находит в настоящее время к своим услугам целый огромный капитал, накопленный теми, кто был раньше его. И этот капитал позволяет ему теперь добыть одним только своим трудом, в соединении с трудом других, богатства, превышающие те, о которых мечтают восточные народы в своих сказках о тысяче и одной ночи.

Почва, частью возделанная, готова быть обработанной интеллигентным трудом и засеянной отборными семенами и украситься роскошными жатвами, более роскошными, чем нужно для удовлетворения всех надобностей человечества. Способы культуры известны.

На девственной почве американских лугов сто человек с помощью сильных машин производят в несколько месяцев столько хлеба, сколько необходимо для десяти тысяч человек в течение целого года. Там же, где человек хочет удвоить, утроить, увеличить во сто раз её урожай, он почву *делает*, даёт каждому растению надлежащий уход и получает баснословные урожаи. Между тем, как охотник должен был в прежние времена завладеть сотней квадратных вёрст, чтоб добыть пищу для своей семьи, — цивилизованный человек выращивает с бесконечно меньшим трудом и с большей уверенностью всё, что нужно для жизни его домочадцев, на одной десятитысячной части этого пространства.

Климат уже более не служит препятствием. Когда солнца не хватает, человек заменяет его искусственной теплотой и надеется, что он создаст также и свет для воздействия на растительность. При помощи стекла и труб с горячей водой, он собирает на данном пространстве в десять раз больше продуктов, чем получал прежде.

Чудеса, совершённые в промышленности, ещё более поразительны. С этими разумными существами, с современными машинами — плодом трёх или четырёх поколений изобретателей, по большей части неизвестных, — сто человек готовят такое количество материи, что из неё можно сделать одежду для десяти тысяч человек на два года. В хорошо организованных угольных копях, сто человек добывают ежегодно материал, достаточный, чтобы отапливать помещения

десяти тысяч семейств в суровом климате. И мы недавно видели, как чудный город возник в несколько месяцев на Марсовом поле Парижа<sup>[2]</sup>, без малейшей остановки обычных работ французской нации.

И хотя, как в промышленности, так и в земледелии, а равно и вообще во всей нашей общественной организации, труд наших предков идёт на пользу почти исключительно очень малого числа, тем не менее верно, что человечество могло бы уже теперь жить богато и роскошно, только при помощи железных и стальных слуг, какими оно владеет.

Да, конечно, мы богаты, бесконечно богаче, чем мы думаем. Богаты тем, чем мы уже владеем, а ещё более богаты тем, что мы можем произвести теперешними инструментами. Бесконечно более богаты тем, что мы могли бы добыть из нашей земли, из наших мануфактур, из нашей науки и из наших технических познаний, если бы они были применены для добычи всеобщего благосостояния.

## II

В цивилизованных обществах мы богаты. Почему же вокруг нас эта нищета? Почему этот тяжёлый труд, оскотинивающий народные массы? Отчего эта неуверенность в завтрашнем дне, даже для хорошо оплачиваемого работника, и это среди унаследованных от прошлого богатств и могущественных средств производства, которые дали бы довольство всем взамен нескольких часов ежедневного труда?

Социалисты сказали, — отчего, и повторяли, бесчисленное множество раз; каждый день они повторяют и доказывают аргументами, взятыми из всех наук. — Оттого, что всё, что необходимо для производства — почва, рудники, машины, пути сообщения, пища, убежище, образование, знание, — всё это было захвачено несколькими лицами в течение этой длинной истории грабежа, переселений, войн, невежества и угнетения, которую человечество прожило, раньше чем научилось укрощать силы природы.

Оттого, что, хвалясь мнимыми нравами, добытыми в прошедшем, они теперь присваивают себе две трети продуктов человеческого труда, которые они расточают самым безумным, самым возмутительным образом; оттого, что, доведя народные массы до такого состояния, в котором человек не имеет наличных средств прожить в течение месяца или даже недели, они позволяют человеку работать только тогда, когда тот соглашается дозволить им удержать львиную часть; оттого, что они мешают ему производить то, что ему нужно, и заставляют его производить не то, что необходимо для других, а то, что даёт человеку наживы наибольшие барыши.

Весь социализм тут!

Вот, в самом деле, цивилизованная страна. Леса, что покрывали её когда-то, прочищены, болота осушены, климат оздоровлен, — страна сделана обитаемой. Почва, на которой росла прежде одна только дикая трава, даёт теперь богатые жатвы. Скалы, возвышающиеся над южными долинами, иссечены террасами, на

которых ползёт виноград с золотистыми ягодами. Дикие растения, дававшие прежде плод терпкий, несъедобный корень, — были переделаны рядом последовательных культур в питательные овощи, в деревья, приносящие прекрасные плоды.

Тысячи мощёных и железных дорог пролегают по земле, прорезают горы; паровоз свищет в диких ущельях Альп, Кавказа, Гималаев. Реки сделаны судоходными, берега, исследованные и тщательно приподнятые, сделаны легко доступными; искусственные гавани, с трудом вычерпанные и защищённые против бурь океана, дают судам убежище. Скалы пробуравлены глубокими колодцами; лабиринты подземных галерей проходят там, где есть уголь или руда. Во всех пунктах, где пересекаются дороги, возникли города; они увеличились, и внутри их находятся все сокровища промышленности, искусства и науки.

Целые поколения, рождённые и умершие в нищете, которых угнетали их хозяева, и истощённые работой, оставили это громадное наследство девятнадцатому веку.

В течение целых тысячелетий миллионы людей работали, расчищая леса, осушая болота, прокладывая дороги, устраивая плотины на реках. Всякий клочок земли, который мы обрабатываем в Европе, орошён потом многих поколений, каждая дорога имеет свою длинную историю барщинного труда, непосильной работы, народных страданий. Каждая верста железной дороги, каждый аршин туннеля получили свою долю человеческой крови.

На стенах шахт мы ещё видим свежие следы ударов заступа в окружающие каменные глыбы, а подземные галереи могли бы быть отмечены от одного столба до другого могилами углекопов, погибших в расцвете своих сил от взрывов рудничного газа, обвалов и наводнений, и мы знаем, скольких слёз, лишений и всяких страданий стоила каждая из этих могил семье, жившей на скудный заработок своего кормильца.

Города, связанные между собою железными дорогами и пароходами, представляют собою организмы, имеющие в прошлом целые века жизни. Разройте их почву — и вы найдёте один над другим целые слои улиц, домов, театров, арен, общественных зданий. Изучите их историю — и вы увидите, как цивилизация каждого города, его промышленность, его дух, медленно росли и развивались благодаря сотрудничеству всех жителей, прежде чем город стал тем, что он представляет теперь.

Но и в настоящую минуту ценность каждого дома, каждого завода, каждой фабрики, каждого магазина обусловлена трудом, положенным на эту точку земного шара миллионами давно погребённых в землю рабочих — и поддерживается она на известном уровне только благодаря труду легионов людей, обитающих эту точку. Каждая частица того, что мы называем богатством народов, ценна лишь постольку, поскольку она составляет часть этого огромного целого. Что представляли бы собою лондонские доки или парижские большие магазины, если бы они не находились в центрах международной торговли? Чего стоили бы наши копи, фабрики, верфи и железные дороги, если бы не существовало масс товаров, ежедневно переправляемых по морю и по суше?

Миллионы человеческих существ потрудились для создания цивилизации, которой мы так гордимся. Другие миллионы, рассеянные по всем углам земного шара, трудятся и теперь для её поддержания. Без них от всего этого через пятьдесят лет остались бы одни груды мусора.

Даже мысль, даже гений изобретателя — явления коллективные, плод прошлого и настоящего. Тысячи писателей, поэтов, учёных трудились целые века для того, чтобы выработать знание, чтобы рассеять заблуждения, чтобы создать ту атмосферу научной мысли, без которой не могло бы явиться ни одно из чудес нашего века. Но и эти тысячи философов, поэтов, учёных и изобретателей были, в свою очередь, продуктом труда прошлых веков. Разве в течение всей их жизни их не кормили и не поддерживали, как в физическом, так и в нравственном отношении, целые легионы всевозможных рабочих и ремесленников? Разве они не черпали силы, дававшей им толчок, из окружающей их среды?

Гений Сегена, Майера и Джоуля, открывших механический эквивалент теплоты, несомненно сделал больше для того, чтобы толкнуть промышленность на новый путь, чем все капиталисты в мире. Но и сами эти гении представляют собою продукты, как промышленности, так и науки: в самом деле, нужно было, чтобы тысячи паровых машин из году в год превращали, на глазах у всех, теплоту в механическую силу, а эту последнюю в звук, свет или электричество, для того, чтобы гениальные умы могли провозгласить механическое происхождение теплоты и единство физических сил. И если мы, дети девятнадцатого века, поняли, наконец, эту идею и сумели её приложить, то это опять-таки благодаря тому, что нас подготовил к этому наш ежедневный опыт. Мыслители прошлого века тоже предвидели и высказывали её, но она осталась непонятной, потому что восемнадцатый век не вырос, как вырос наш век, около паровой машины.

Подумайте только, сколько десятилетий провели бы мы ещё в неведении этого закона, давшего нам возможность перевернуть всю современную промышленность, если бы Уатт не нашёл в Сохо умелых рабочих, воплотивших в меди и железе его теоретические соображения, усовершенствовавших его машину во всех её частях и сделавших, наконец, заключённый в её механизме пар послушнее лошади и удобнее воды, — вследствие чего она могла стать душою современной промышленности.

Всякая машина имеет в своём прошлом подобную же историю: длинную историю бессонных ночей и нужды, разочарований и радостей, второстепенных усовершенствований, изобретённых несколькими поколениями неизвестных рабочих, понемногу прибавлявших к первоначальному изобретению те мелкие подробности, без которых самая плодотворная идея остаётся бесплодной. Мало того: каждое новое изобретение представляет собою синтез, свод тысячи изобретений, предшествовавших ему в обширной области механики и промышленности.

Наука и промышленность, знание и его приложения, открытия и их практическое осуществление, ведущее к новым открытиям, труд умственный и труд ручной, мысль и продукт материального труда — всё это связано между собою. Каждое открытие, каждый шаг вперёд, каждое увеличение богатств человечества имеет своё начало во всей совокупности физического и умственного труда, как в

прошлом, так и в настоящем.

По какому же праву, в таком случае, может кто-нибудь присвоить себе хотя бы малейшую частицу этого огромного целого и сказать: это моё, а не ваше?

### III.

А между тем, в течение ряда веков, прожитых человечеством, случилось так, что всё, что даёт человеку возможность производить и увеличивать свою производительную силу, было захвачено небольшой горстью людей. Мы расскажем, может быть, когда-нибудь, как именно это произошло; теперь же для нас достаточно указать на этот факт и обсудить его последствия.

В настоящее время земля, получающая свою ценность именно от потребностей всё растущего населения, принадлежит меньшинству, которое может помешать, и в самом деле мешает, народу её обрабатывать, или же не даёт ему обрабатывать её соответственно современным требованиям. Копи, представляющие собою труд нескольких поколений и потому только и имеющие ценность, что кругом их кишит промышленность и ютится густое население, точно так же принадлежат нескольким человекам, и эти несколько человек ограничивают количество добываемого угля, или даже совершенно прекращают его добывание, если они найдут нужным поднять продажную цену угля, или им встретится случай поместить свои капиталы более выгодным образом. Машины точно так же составляют собственность немногих, и даже тогда, когда данная машина представляет собою бесспорной суммой усовершенствований, внесённых в первобытный инструмент тремя поколениями рабочих, — они всё-таки принадлежат нескольким хозяевам. Если бы внуки изобретателя, построившего сто лет тому назад паровую машину для тканья кружев, явились теперь в Базель или в Ноттингем и предъявили свои права на неё, им бы ответили: «Убирайтесь вон! Эта машина вам не принадлежит!» А если бы они захотели взять её силой, их разогнали бы картечью.

Железные дороги, которые были бы не больше, как бесполезными массами железа, если бы не густота европейского населения, его промышленность, его торговля, его обмен, принадлежат теперь нескольким акционерам, которые, может быть, даже не знают, где находятся эти дороги, часто приносящие им больше дохода, чем все владения какого-нибудь средневекового короля. И если бы дети тех людей, которые умирали тысячами, копая выемки и туннели, собрались и пошли, голодной и оборванной толпой, требовать хлеба у акционеров, их разогнали бы штыками, ради ограждения «приобретённых прав».

В силу этого чудовищного устройства общества, сын рабочего не находит при своём вступлении в жизнь ни поля, которое он мог бы возделывать, ни машины, около которой он мог бы работать, иначе как под условием, что он будет уступать какому-нибудь хозяину большую часть того, что он нарабатывает. Он должен продавать свою рабочую силу за скудное и неверное пропитание. Его отец и дед работали над осушением этого поля, над постройкой этого завода, над усовершенствованием его машин; они рыли эту копь; они работали по мере своих

сил, — а кто же может дать больше этого? Между тем сам он родился на свет беднее последнего дикаря. Если ему позволят заняться обработкой поля, то только под условием, чтобы он отдал четверть жатвы хозяину, а другую четверть правительству и всяким ненужным посредникам — торговцам, акционерам железных дорог и т. д. И эта подать, взимаемая с него государством, капиталистом, собственником земли и посредниками, будет всё расти из года в год, и только в редких случаях ему, пахарю, удастся сберечь хоть что-нибудь, чтобы улучшать своё хозяйство.

Если он займётся промышленностью, ему позволят работать — и то, впрочем, не всегда, — но под условием, что он будет получать треть или четверть цены продукта, так как остальное должно достаться тому, кого закон признаёт собственником машины, завода, магазина и т. п.

Мы гремим против средневекового барона, который не позволял крестьянину обрабатывать землю иначе, как под условием отдать ему четверть жатвы. Мы называем феодальную эпоху варварской, а между тем, если внешние формы и изменились, то сами отношения остались те же. Рабочий по нужде соглашается на феодальные условия, которые мы нынче называем «свободным договором», потому что жить ему нечем, а лучших условий он нигде не найдёт. Всё стало собственностью того или другого хозяина, и ему остаётся — или принять такие условия, или умирать с голоду.

Но этого мало. Такое положение вещей приводит к тому, что всё наше производство принимает ложное направление. Промышленное предприятие не заботится о потребностях общества: его единственная цель — увеличение барышей предпринимателя. Отсюда постоянные колебания в промышленности и хронические кризисы, из которых каждый выбрасывает на улицу сотни тысяч рабочих.

Так как рабочие не могут покупать на свою заработную плату тех богатств, которые они производят, то промышленность должна искать внешних рынков среди эксплуатирующихся классов других народов. Повсюду — на Востоке, в Африке, в Египте, в Тонкине, в Конго европеец стремится ради этого увеличивать число своих рабов. Но повсюду он встречает конкурентов, так как все народы развиваются в том же направлении, и из-за права господствовать на рынках начинаются непрерывные войны. Войны за преобладание на Востоке, войны за господство на море, войны за возможность облагать ввозными пошлинами своих соседей и предписывать им какие угодно условия, войны против всех, кто протестует! Гром пушек не перестаёт раздаваться в Европе; целые поколения истребляются; европейские государства тратят на вооружения треть своих доходов, — а мы знаем, что такое налоги и чего они стоят бедному люду.

Образование становится привилегией ничтожного меньшинства. Можно ли, в самом деле, говорить об образовании для всех, если сын рабочего должен в тринадцать лет уже спускаться в рудники или помогать отцу в полевых работах! Можно ли говорить об учении рабочему, который возвращается домой вечером, разбитый целым днём каторжного, почти всегда отупляющего труда.

Общество делится, вместе с тем, на два враждебные лагеря, и свобода становится пустым звуком. Радикал, который требует большего расширения

политических вольностей, скоро замечает, что свободный дух ведёт к пробуждению рабочих; и тогда он обращается вспять, бросает свои радикальные убеждения и заодно с «охранителями» требует исключительных кар против рабочих и военной диктатуры.

Для поддержания существующих привилегий требуется, наконец, целый обширный состав судей, прокуроров, жандармов и тюремщиков, а всё это становится в свою очередь источником целой системы доносов, обманов, подкупов и всевозможных подлостей.

Мало того: этот порядок вещей прямо-таки мешает развитию среди людей общественных чувств. Каждый понимает, что без прямоты в отношениях, без самоуважения, без взаимного сочувствия и поддержки, человеческий род должен исчезнуть, как исчезают те немногие животные виды, которые живут хищничеством и порабощением друг друга. А между тем жизнь толкает каждого в противоположную сторону.

Много хороших слов было сказано в разные времена о том, что мы обязаны делиться с неимущими тем, что мы имеем. Но каждый, кто начинает прилагать это учение на практике, скоро отворачивается от него и говорит, что все эти великодушные чувства хороши в поэтических произведениях, но вовсе не в жизни. Лгать, это значит не уважать себя, это значит унижаться, говорим мы, а вся наша цивилизованная жизнь представляет собою сплошную ложь. Мы привыкаем, таким образом, сами и приучаем наших детей к двуличности и к лицемерию. А так как наш ум неохотно поддаётся этому, то мы стараемся успокоить себя лживыми умствованиями — софизмами... Лицемерие и софизмы становятся второй натурой цивилизованного человека.

Но общество так жить не может: оно должно, или вернуться на правильный путь, или погибнуть.

Мы видим, таким образом, что простой факт захвата богатств небольшим меньшинством отражается на всей общественной жизни в её целом. Человеческие общества должны, — под угрозой гибели, какая уже постигла немало государств в древности, вернуться к основному принципу в том, что раз орудия производства представляют собою продукт труда всего народа, то они должны перейти в руки всего народа. Частное присвоение их и несправедливо, и бесполезно. Всё принадлежит всем, так как все в нём нуждаются, все работали для него по мере сил, и нет никакой физической возможности определить, какая доля принадлежит каждому в производимых теперь богатствах.

Всё принадлежит всем! Вот перед нами огромная масса орудий, созданная девятнадцатым веком, вот миллионы железных рабов, которых мы называем машинами и которые пилят и стругают, ткуют и прядут за нас, разлагают и вновь восстанавливают сырой материал, одним словом, создают все чудеса нашего времени. Никто не имеет права завладеть хотя бы одной из этих машин и сказать: «Она принадлежит мне, и, чтобы пользоваться ею, вы должны платить мне дань с каждого из ваших продуктов», так же, как средневековый помещик не имел права сказать крестьянину: «Этот холм, или этот луг принадлежит мне, и ты будешь платить мне



дань с каждого собранного снопа, с каждой копны сена».

Да, всё принадлежит всем! И раз только мужчина или женщина внесли в это целое свою долю труда, они имеют право на свою долю всего, что производится общими усилиями всех. А этой доли уже будет достаточно, чтобы обеспечить довольство всем.

Довольно с нас неясных формул, вроде «права на труд» или «каждому продукт его труда»! То, чего мы требуем, это — *права на довольство — довольство для всех.*

## ДОВОЛЬСТВО ДЛЯ ВСЕХ.

Довольство для всех — не мечта. С тех пор, как наши предки положили столько труда, чтобы сделать нашу работу более производительной, оно стало возможным и осуществимым.

Мы знаем, что уже теперь производительные рабочие, составляющие в каждой образованной стране менее трети населения, производят достаточно продуктов для того, чтобы обеспечить некоторое довольство в каждой семье. Мы знаем, кроме того, что если бы все, кто расточает теперь чужой труд, были вынуждены сами заниматься каким-нибудь полезным трудом, наше богатство возросло бы в несколько раз, — больше даже, чем возросло бы число рабочих рук. Мы знаем, наконец, что, вопреки теории Мальтуса — этого жреца буржуазной науки, — производительная сила человека увеличивается быстрее его собственного размножения. Чем больше сгущены люди в какой-нибудь стране, тем быстрее идёт развитие их производительных сил.

В самом деле, в то время, как население Англии возросло, с 1844 года, всего на 62%, её производительные силы увеличились, по меньшей мере, на 130%. Во Франции, где население увеличилось меньше, рост производительных сил тем не менее также шёл очень быстро. Несмотря на удручающие земледельческие кризисы, на обирательство крестьян государством, на рекрутчину, на обирание земледельцев банкирами, финансистами и промышленными хозяевами, в течение последней четверти века производство пшеницы учетверилось во Франции, а производство промышленное удесятерилось. В Соединённых Штатах мы находим ещё более поразительный прогресс: несмотря на эмиграцию — или, вернее, именно вследствие этого притока рабочих из Европы — Соединённые Штаты увеличили своё производство в десятки раз.

Но эти цифры дают лишь слабое понятие о том, что мы могли бы производить при более разумных условиях жизни. В настоящее время, по мере увеличения производительной способности, растёт в ужасающих размерах и армия тунеядцев и посредников. Вопреки царившему прежде среди социалистов мнению, что капитал скоро настолько сконцентрируется в немногих руках, что для овладения общим имуществом достаточно будет экспроприировать нескольких миллионеров, оказывается, что число лиц, живущих чужим трудом, становится в действительности всё более и более значительным.

Во Франции, на тридцать человек жителей не приходится и десяти непосредственных производителей. Всё земледельческое богатство страны есть дело семи миллионов человек, а в двух её главных отраслях промышленности — в коях и в производстве тканей — насчитывается меньше двух с половиною миллионов рабочих. Сколько же оказывается в таком случае эксплуататоров труда? В Англии (с Шотландией и Ирландией) всего 1.030.000 рабочих заняты в фабрикациях всех возможных тканей, — миткалей, сукон, шелков, джуты, кружев и т. под., и из них всего только 300.000 мужчин — остальное же женщины, подростки и дети. Около полумиллиона работают во всех коях и рудниках; в Англии и Шотландии всего с небольшим миллион обрабатывают землю, и статистикам приходится

преувеличивать цифры для того, чтобы установить максимум в 8 миллионов производителей на 26 миллионов жителей Англии, Уэльса и Шотландии. В действительности же, самое большее, шесть или семь миллионов рабочих создают все богатства, рассылаемые Англией во все концы света. Сколько же, после этого, окажется людей, живущих с капитала, или посредников-купцов, которые получают доход со всего мира, и заставляют потребителя платить себе в несколько раз (от 5 до 20 раз) больше, чем они сами платят производителю?

Мало того. Люди, в руках которых находится капитал, беспрестанно умышленно сокращают производство, чтобы поднять цены. Уже не говоря о целых бочках устриц и рыбы, выбрасываемых в море для того, чтобы устрицы и тонкая рыба не сделались едою, доступною народу, и не перестали быть лакомством богатых; не говоря о тысячах предметов роскоши — материй, пищевых продуктов и т. д., которых постигает та же участь, что и устриц, — напомним только о том, каким образом ограничивают производство предметов необходимых для всех. Целые армии углекопов с удовольствием стали бы добывать каждый день уголь и отсылать его тем, кто дрожит от холода; но очень часто, по крайней мере треть, а не то и две трети этой армии не могут работать больше трёх дней в неделю, потому что хозяевам нужно поддерживать высокие цены на уголь. Тысячи ткачей не могут работать на своих станках, в то время, как их жёны и дети ходят в лохмотьях, по той же причине; а между тем три четверти европейского населения не имеет одежды, достойной этого имени.

Сотни доменных печей, тысячи мануфактур остаются постоянно в бездействии или работают лишь половину времени, всё ради того же повышения цен, и в каждой образованной нации мы находим постоянно около миллиона, а иногда и до двух миллионов людей, остающихся без работы: ищущих работы, но лишённых возможности её получить.

Миллионы людей с радостью принялись бы превращать невозделанные, или плохо возделанные, земли в богатые поля, способные дать роскошные жатвы. Одного года разумного труда было бы уже достаточно, чтобы увеличить впятеро производительность земель, которые теперь дают только жалкий урожай. Но смелые начинатели, готовые взяться за это дело, осуждены на бездействие, потому что те, кто владеет землёй, копиями, мануфактурами, предпочитают помещать свои капиталы — капиталы, украденные у общества — в турецкие или египетские займы, или в акции золотых приисков в Патагонии, так как им выгоднее заставлять работать на себя египетских феллахов, итальянцев, вынужденных покинуть свою страну, или китайских кули!

Во всём этом мы видим сознательное и непосредственное ограничение производства, но есть и другое ограничение, косвенное и бессознательное, которое состоит в том, чтобы тратить человеческий труд на производство предметов совершенно бесполезных, или служащих исключительно для удовлетворения бессмысленного тщеславия богачей.

До чего доходит это косвенное ограничение, невозможно исчислить даже приблизительно. Но все мы знаем и видим воочию, сколько сил человеческих тратится совершенно попусту, тогда как они могли бы послужить для производства

необходимых вещей, а в особенности для приготовления орудий, нужных для будущего улучшенного производства. Достаточно будет указать на миллиарды, растрачиваемые Европой на вооружения — с единственной целью завоевания новых рынков, или для того, чтобы покорить соседей своему экономическому влиянию и облегчить эксплуатацию внутри страны; достаточно будет указать на миллионы, выплачиваемые ежегодно всевозможным чиновникам, роль которых заключается в поддержании господства немногих над экономической жизнью всего народа; миллионы, тратящиеся на судей, на тюрьмы, на жандармов, на весь механизм, называемый правосудием, в то время, как известно, что стоит только хоть немного облегчить бедность в больших городах, чтобы преступность уже уменьшилась в значительных размерах; наконец, миллионы, употребляющиеся на распространения путём печати вредных идей и ложных известий в интересах какой-нибудь партии, какого-нибудь политического деятеля, или какой-нибудь кампании эксплуататоров.

Но и это ещё не всё. Подсчитайте только количество труда, который ежегодно тратится совершенно попусту — здесь, на содержание конюшни, псарни или дворни богача, там — на удовлетворение капризов светских барынь и стремления к роскоши развращённого высшего общества, везде — на то, чтобы при помощи рекламы заставить вас купить вещь совершенно ненужную, или навязать покупателям товар дурного качества, или даже на производство предметов положительно вредных, но выгодных для предпринимателя. Потраченного таким образом понапрасну труда несомненно хватило бы на то, чтобы удвоить производство полезных предметов, или же чтобы снабдить машинами и орудиями много фабрик и заводов, а эти последние скоро наводнили бы магазины продуктами, в которых две трети населения нуждаются в настоящее время.

Словом, несомненно, что даже из числа тех, кто в каждой данной стране занимается производительным трудом, четверть, по крайней мере, всегда остаётся без работы в течение трёх или четырёх месяцев в году, а труд второй четверти — если даже не половины, — идёт не на что иное, как на развлечение богачей и на эксплуатацию публики.

Таким образом, если мы примем во внимание, с одной стороны, ту быстроту, с какою цивилизованные народы увеличивают свои производительные силы, а с другой — ограничение, прямое или косвенное, которому подвергается производство вследствие современных условий, то мы должны заключить, что сколько-нибудь разумная хозяйственная организация дала бы образованным народам возможность накопить в течение нескольких лет столько полезных продуктов, что им пришлось бы, наконец, сказать себе: «Довольно! Довольно с нас угля, довольно хлеба, довольно одежды! Отдохнём и подумаем, куда ещё приложить свои силы, как лучше употребить остающийся у нас досуг!»

Нет, довольство для всех — не мечта. Оно, может быть, было мечтой тогда, когда человеку едва удавалось, ценою страшного труда, получить двадцать пудов ржи с десятины, когда он выделывал собственными руками нужные для земледелия и промышленности орудия. Но оно перестало быть мечтой с тех пор, как человек изобрёл двигатель, который, с помощью небольшого количества железа и нескольких фунтов угля, доставляет ему послушную и удобную силу, способную

привести в движение самую сложную машину.

Но для того, чтобы это довольство перешло в действительность, нужно, чтобы весь этот огромный капитал — города, дома, распаханное поле, заводы, пути сообщения, воспитание — перестало считаться частною собственностью, которою захвативший её распоряжается по своему усмотрению.

Нужно, чтобы всё это богатство орудий производства, с таким трудом приобретённое, построенное, выделанное, изобретённое нашими предками, стало общою собственностью, чтобы общество, с помощью своего коллективного ума, могло извлечь из него наибольшую выгоду для всех.

Для этого нужна экспроприация. А потому, довольство для всех — наша цель; экспроприация — наше средство.

## II.

Экспроприация, т.-е. возврат обществу того, что ему принадлежит по праву, — такова задача, поставленная историей перед нами, людьми конца девятнадцатого века. Всё то, что служит для обеспечения благосостояния общества, должно быть возвращено обществу.

Но эта задача не может быть разрешена законодательным путём. Никто в такое решение и не верит, как бедный, так и богатый понимают, что ни современные правительства, ни правительства, могущие явиться вследствие какой-нибудь политической революции, не окажутся способными найти нужный выход. Всеми чувствуется необходимость социальной революции, и как богатые, так и бедные не скрывают от себя, что эта революция близка, что она может разразиться не сегодня — завтра.

За последние полвека соответственная подготовка — эволюция — уже совершилась в умах, но под давлением меньшинства, т.-е. имущих классов, она не могла воплотиться в действительность; ей приходится поэтому устранить препятствия силой и осуществиться в революции.

Откуда придёт революция? Какими признаками будет отмечено её начало? На эти вопросы никто не может ответить; мы находимся здесь в полной неизвестности. Но все, кто сколько-нибудь наблюдает и размышляет, все — как рабочие, так и эксплуататоры, как революционеры, так и охранители — чувствуют одно: что эта революция близка.

Что же мы сделаем, когда она, наконец, разразится?

Мы все так много начитались о драматической стороне прошлых революций и так мало знаем их действительно-революционную работу, что многие из нас видят в этих движениях только внешнюю обстановку, борьбу первых дней, баррикады. Но эта борьба на улице, эти первые стычки длятся недолго и скоро заканчиваются победой или поражением народа; и именно после победы народа над его прежними правителями начинается настоящая революционная работа.

Неспособные и бессильные, атакованные со всех сторон, эти правители быстро уносятся вихрем восстания, если восстание имеет действительно народный характер. В 1848 году, буржуазная монархия во Франции погибла в несколько дней, и когда Луи-Филипп уезжал в извозчичьей карете из Парижа, Париж забыл уже и думать о бывшем короле. Правительство Тьера исчезло 18 марта 1871 года в несколько часов, оставляя Париж хозяином своей собственной судьбы. А между тем движения 1848 и 1871 года были только городскими восстаниями; при настоящей же народной революции разложение всего государственного строя совершается с поразительной быстротою во всей стране. Правители начинают с того, что бегут, а затем уже начинают устраивать заговоры, чтобы обеспечить себе возможность возврата.

Как только прежнее правительство расшаталось, армия перестаёт, в виду растущей волны народного восстания, повиноваться своим вождям; эти последние, впрочем, также благоразумно ступают назад. Войско стоит сложа руки, или же, подняв приклады вверх, присоединяется к восставшим. Полиция не знает, что делать — бросаться ли с кулаками на толпу, или кричать: «да здравствует Коммуна!» — и расходится благоразумно по домам, «поджидая нового начальства». Крупные буржуа укладывают свои пожитки и уезжают куда-нибудь в безопасные места. Народ же остаётся. Таково бывает начало всякой революции.

И вот, например, Коммуна провозглашена в нескольких больших городах. Тысячи людей толпятся на улицах и собираются по вечерам в импровизированных клубах для решения вопроса «что делать?» для горячего обсуждения общественных дел. Ими интересуются теперь все; даже те, кто ещё вчера были совершенно равнодушны, теперь оказываются чуть ли не самыми ретивыми. Повсюду видно очень много усердия, много самого горячего желания обеспечить за собою победу. Совершаются деяния самого высокого самопожертвования. Народ рвётся вперёд: — куда бы то ни было, лишь бы вперёд.

Всё это прекрасно, всё это очень возвышенно. Но это ещё не революция. Напротив, работа революционера только теперь и начинается.

Нет сомнения, что будут при этом и акты мести. Разные Ватрены и Тома поплатятся за свою непопулярность. Но это будет только одна из случайностей борьбы, а вовсе ещё не революция<sup>[3]</sup>.

Правительственные социалисты, радикалы, непризнанные гении журнализма, напыщенные ораторы — как буржуа, так и рабочие — бросятся, конечно, в Городскую Думу, чтобы занять опустевшие там места. Одни нацепят на себя всяких побрякушек, будут смотреться в министерские зеркала и учиться отдавать приказания с величием, подобающим их новому сану: красный пояс, военная фуражка и величественные движения руки необходимы им, чтобы внушить к себе почтение со стороны бывшего товарища по редакции или по мастерской. Другие зарюются в бумагах, с самым искренним желанием понять в них что-нибудь, и примутся сочинять законы и издавать указы, полные громких фраз, которых никто, впрочем, не станет исполнять, именно потому, что теперь — время революции.

Чтобы придать себе недостающую им представительность, они найдут себе

подходящие чины в прежних правительственных учреждениях и назовут себя «Временным Правительством», или «Комитетом Общественного Спасения», или Головою, Комендантом Городской Думы, Начальником Охраны и т. п. Других выберут, или провозгласят без выборов, членами Парламента или Городского Совета, и вот они соберутся, с подобающей торжественностью, в Палате или в Думе. И тут окажутся согнанными в кучу люди, принадлежащие по крайней мере к десятку различных школ и направлений, — направлений, которые вовсе не обуславливаются, как это часто говорят, одним личным соперничеством, а соответствуют действительно различным способам понимания задач, последствий, глубины предстоящей революции. Поссибилисты («возможники»), коллективисты, радикалы, якобинцы, бланкисты будут согнаны в одну кучу и неизбежно должны будут проводить время в безвыходных, неразрешимых, всё обостряющихся спорах; с честными людьми смешаются властолюбцы, которые мечтают только собственном господстве и глубоко презирают толпу, из которой вышли сами. Все они придут с прямо противоположными взглядами и будут вынуждены заключать между собою якобы союзы для образования большинства, много на день или на два, спорить без конца, обзывать друг друга реакционерами, деспотами и мошенниками. Им нельзя будет согласиться ни на одной серьёзной мере, им придётся страстно увлекаться спорами из-за мелочей, и не смогут они создать ничего, кроме напыщенных прокламаций. И все-то они, при этом, будут принимать себя всерьёз, тогда как настоящая сила движения была и будет оставаться на улице, в толпе.

Всё это, может быть, очень интересно для любителей театральных представлений, но всё это ещё не революция. При всём этом ничего ещё не сделано!

Между тем, народ страдает. Машины на фабриках не работают, мастерские закрываются, капиталист прячется в свою уютную норку, заказов нет, торговля не идёт. Рабочий теряет даже тот ничтожный заработок, какой имел прежде; а цены на жизненные припасы растут и растут...

Но он ждёт с геройским самоотвержением, которым всегда отличается народ в решительные минуты, когда он доходит до великого. «Мы отдаём на службу республике три месяца нужды», заявили парижские рабочие в феврале 1848 года, когда республика была провозглашена во Франции, — в то время, как господа «представители народа» и члены временного правительства все, до последнего служителя, аккуратно получали своё жалованье! Народ страдает. Но со свойственной ему детской доверчивостью, с добродушием массы, верящей в своих вождей, он ждёт, чтобы им занялись там, наверху — в Палате, в Думе, в Комитете Общественного Спасения.

Но там думают обо всём, кроме народных страданий. Когда в 1793 году голод свирепствовал во Франции, грозя судьбам революции; когда народ был доведён до последней степени нищеты, в то время, как по Елисейским полям разъезжали в великолепных колясках барыни в роскошных туалетах, Робеспьер настаивал в Якобинском клубе на чём? — на обсуждении его мемуара об английской конституции! Когда в 1848 году, рабочий сидел без куска хлеба вследствие всеобщей остановки промышленности, Временное Правительство и Палата препирались о пенсиях военным офицерам и о работах в тюрьмах, и даже не подумали спросить

себя, чем живёт народ в такую пору безработицы. И если можно упрекнуть в чём-нибудь Парижскую Коммуну, родившуюся в таких скверных условиях, под пушками пруссаков, и просуществовавшую всего семьдесят дней, то и её придётся упрекнуть в том, что она не поняла, что без сытых солдат нельзя одержать победу и что на тридцать су в день (полтинник) в осаждённом Париже нельзя рабочему сражаться на укреплениях и в то же время кормить свою семью.

Народ страдает, и спрашивает: «что делать, чтобы выйти из этого положения?»»

### III.

Нам кажется, что на этот вопрос может быть только один ответ:

Признать и заявить во всеулышание, что всякий, каков бы ни был в прошлом его ярлык, как бы он ни был силён или слаб, способен или неспособен, имеет, прежде всего, *право на жизнь*, и что общество должно делить между всеми те средства существования, которыми оно располагает. Это нужно признать, провозгласить, и действовать соответственно этому.

Нужно сделать так, чтобы с первого же дня революции народ понял, что для него наступила новая пора; что с этого дня никому уже больше не придётся ночевать под мостами, когда рядом стоят пышные дворцы, никому не придётся голодать, покуда есть в городе съестные припасы; никому не придётся дрожать от холода, когда рядом стоят меховые магазины. Пусть всё принадлежит всем, как в принципе, так и в действительности, и пусть, наконец, в истории произойдёт хоть одна революция, которая позаботится о *нуждах* народа, прежде чем отчитывать ему проповедь о его *обязанностях*.

Но указами этого сделать нельзя. Добиться этого можно только, если народ на деле, непосредственно, завладеет всем, что нужно для жизни; это единственный, действительно *научный* способ действия, и единственно понятный народной массе и для неё желательный.

Нужно завладеть, во имя восставшего народа, хлебными складами, магазинами платья, жилыми домами. Ничего не надо тратить зря, а тотчас же следует организовать так, чтобы пополнять что будет израсходовано. Словом, прежде всего сделать всё возможное, чтобы удовлетворить все потребности, и сейчас же начать производство, но уже не ради барышей кому бы то ни было, а для того, чтобы обеспечить жизнь и дальнейшее развитие всего общества.

Не нужно нам больше этих двусмысленных фраз, вроде «права на труд», которыми заманивали народ в 1848 году и хотят заманивать ещё и теперь. Пора быть посмелее и прямо заявить, что довольство для всех, сделавшееся в наше время возможным, *должно* осуществиться во что бы то ни стало.

Когда в 1848 году рабочие требовали права на труд, правительство устраивало национальные мастерские и заставляло людей работать в этих мастерских за два франка в день! Когда они требовали организации труда, им отвечали: «Подождите, друзья мои, правительство займётся этим, а пока — вот вам два франка. Отдохни,



суровый рабочий, трудившийся всю свою жизнь!» А пока, прицеливали пушки, собирали отовсюду войска и дезорганизовывали самих рабочих тысячами средств, которые буржуа знают очень хорошо. Затем, в один прекрасный день им заявили: «отправляйтесь колонизовать Африку, или мы вас расстреляем!»

Совсем иной результат получится, если рабочие будут требовать *права на довольство*. Они заявят тем самым о своём праве завладеть всем общественным богатством, завладеть домами и расположиться там сообразно потребностям каждой семьи, захватить накопленные съестные припасы и распорядиться ими так, чтобы после слишком долгого голодания узнать, наконец, довольство. Они заявят, таким образом, о своём праве на все богатства — продукт труда прошлых и настоящих поколений, и распорядятся ими так, чтобы познакомиться, наконец, с высшими наслаждениями искусства и науки, слишком долго бывшими достоянием одних буржуа.

И заявляя о своём праве на довольство, они — и это ещё важнее — провозгласят вместе с тем своё право решать, что должно представлять собою это довольство, какие продукты нужно производить для его обеспечения и что можно оставить, как потерявшее всякую цену.

Право на довольство, это — возможность жить по-человечески и воспитывать детей так, чтобы сделать из них равных членов общества, стоящего более высоко, чем наше; тогда как право на труд, это — право оставаться всегда наёмным работником, управляемым и эксплуатируемым завтрашним буржуа. Право на довольство, это — социальная революция, право на труд, это, самое большее — промышленная каторга.

Уже давно пора рабочему провозгласить, наконец, своё право на общее наследие и завладеть этим наследием.

## Анархический коммунизм.

Всякое общество, покончившее с частной собственностью, должно будет, по нашему мнению, организовать на началах анархического коммунизма. Анархизм неизбежно ведёт к коммунизму, а коммунизм — к анархизму, причём и тот, и другой представляют собою не что иное, как выражение одного и того же стремления, преобладающего в современных обществах — стремления к равенству.

Было время, когда крестьянская семья могла считать выращиваемый ею хлеб и выделываемую дома шерстяную одежду плодами своего личного труда. Правда, даже и тогда такой взгляд был не совсем верен: уже тогда существовали мосты и дороги, устроенные сообща, были луга, осушённые общими силами, общинные пастбища и загороди, поддерживавшиеся общими усилиями. Всякое усовершенствование в ткацком станке или в способе окраски холста шло на пользу всем; и крестьянская семья не могла существовать иначе, как при условии, что ей, не в том, так в другом будет оказана мирская поддержка.

Но в настоящее время, когда всё связано и всё переплетается между собою в промышленности, когда каждая отрасль производства пользуется услугами всех остальных, — искать долю каждого в современном производстве оказывается совершенно невозможным. Если обработка волокнистых веществ и ковка металлов достигли в образованных странах такого удивительного совершенства, то они обязаны этим одновременному развитию тысячи других, крупных и мелких отраслей промышленности, распространению железных дорог и пароходов, навыку и ловкости, приобретённым миллионами рабочих, известному общему уровню развития всего рабочего класса и, наконец, вообще всем работам, которые производятся на всём земном шаре.

Итальянцы, умиравшие от холеры при прорытии Суэцкого канала или от деревенелости сочленений в Сен-Готардском туннеле; американцы, погибавшие от пушечных ядер в войне за отмену рабства, сделали для развития хлопчатобумажной промышленности в России, в Европе и в Америке не меньше, чем те девушки и дети, которые чахнут на манчестерских или московских фабриках, или тот инженер, который — большею частью на основании догадки кого-нибудь из рабочих — вносит улучшения в ткацкие станки.

Каким образом определить, при таких условиях, часть, приходящуюся на долю каждого, в тех богатствах, созданию которых содействуем мы все?

Становясь на эту обобщающую точку зрения, мы не можем поэтому согласиться с коллективистами и не можем признать, чтобы вознаграждение, пропорциональное числу часов, употреблённых каждым на производство этих богатств, представляло собою идеал, или хотя бы даже шаг вперёд по направлению к идеалу. Не входя здесь в обсуждение того, действительно ли меновая ценность товаров измеряется в современном обществе количеством необходимого для их производства труда, как утверждали Адам Смит и Рикардо, а за ними и Маркс (мы вернёмся к этому впоследствии), затем только, что в таком обществе, где орудия производства считаются общою собственностью, идеал коллективистов уже

окажется неосуществимым. Раз только общество примет за основание принцип общественного владения, ему неизбежно придётся отказаться и от всякой формы наёмного труда.

Мы твёрдо убеждены в том, что смягчённый индивидуализм коллективистов не сможет удержаться рядом с коммунизмом, хотя бы неполным, но уже выраженным в общем владении землёю и орудиями производства. Новая форма владения собственностью потребует и новой формы распределения того, что будет выработано на общей земле, общими орудиями труда. При новой форме производства невозможна старая форма потребления, точно так же как при ней невозможны и старые формы политической организации.

Наёмный труд есть результат присвоения земли и орудий производства несколькими лицами. Он был необходимым условием развития капиталистического производства и должен умереть вместе с ним, даже если бы его попытались замаскировать под именем «рабочих чеков». Общая собственность на орудия производства неизбежно приведёт и к пользованию сообща продуктами общего труда.

Мы думаем, кроме того, не только, что коммунизм желателен, но что современные общества, основанные на индивидуализме, сами неизбежно должны двигаться по направлению к коммунизму.

Развитие индивидуализма в течение трёх последних веков — т.-е. усиливающееся стремление каждой отдельной личности обеспечить себя, помимо всех остальных, — объясняется, главным образом, стремлением человека оградить себя от власти капитала и государства. Некоторое время, большинство людей думало, а те, кто служил выразителями мыслей большинства, проповедовали, что, обеспечив себя, каждого порознь, человек сможет вполне освободиться и от государства, и от капитала. «Деньги, думали люди, дадут мне возможность купить всё, что мне нужно, в том числе и свободу». Но оказалось, что тут крылась глубокая ошибка. Современная история заставляет каждого признать, что деньгами ни свободы, ни даже личного, продолжительного и стойкого обеспечения нельзя купить; что без сотрудничества всех отдельный человек бессилен, как бы ни были его сундуки полны золотом.

В самом деле, рядом с этим индивидуалистическим течением, мы находим во всей современной истории, с одной стороны, стремление удержать остатки древнего коммунизма, а с другой — восстановить коммунистические начала в самых разнообразных проявлениях общественной жизни.

Как только общинам десятого, одиннадцатого и двенадцатого века удалось освободиться от власти светских или духовных владетелей, в них тотчас же стали сильно развиваться начала общего труда и общего потребления.

Город — именно город, а не частные лица («Господин Великий Новгород» в России) — снаряжал корабли и посылал караваны для торговли с отдалёнными странами, и барыши от торговли доставались не отдельным купцам, а опять-таки всем — городу; город же покупал и нужные для жителей припасы. Следы этих учреждений сохранились кое-где до самого девятнадцатого века (до 1848 года); и

весь народ свято сохраняет воспоминание о них в своих преданиях.

Всё это исчезло. Одна только сельская община ещё борется за сохранение последних следов этого коммунизма, да и то удаётся ей только до тех пор, пока государство не бросит на чашку весов свой тяжёлый меч.

Но вместе с тем, повсюду возникают в самых разнообразных формах новые организации, основанные на том же принципе: *каждому по его потребностям*, потому что без известной доли коммунизма современные общества вовсе не могли бы существовать. Несмотря на узко-эгоистический характера, который придаёт умам людей нашего времени товарное производство, коммунистическое направление обнаруживается постоянно и проникает в наши отношения во всевозможных видах.

Не так давно ещё, когда через реку строили мост, то с каждого проезжего и прохожего взыскивали «мостовое»; теперь же мосты — общественная собственность, и каждый пользуется ими, сколько ему нужно. Шоссейная дорога, за которую платят столько-то с версты, сохранилась только на Востоке. Музеи, общественные библиотеки, даровые школы, общие обеды для детей, парки и сады, открытые для всех, доступные для всех, вымощенные и освещённые улицы, проведённая в дома вода (причём заметно стремление вовсе не считать в точности, сколько её расходуется в каждом доме), всё это учреждения, основанные на принципе: «берите сколько вам нужно».

Конки и железные дороги уже вводят месячные и годовые билеты, сколько бы раз в году или каждый день вы ни ездили взад и вперёд; а недавно в целой стране, в Венгрии (а за нею и в России), ввели на железных дорогах зонный тариф, дающий возможность проехать за одну и ту же цену, как пятьсот, так и семьсот вёрст. От этого недалеко и до установления одной общей платы за проезд в такой-то области, как в почтовом тарифе. Во всех этих и во множестве других учреждений (гостиницы, пансионы и т. д.), господствующее направление состоит в том, чтобы не измерять потребления. Одному нужно проехать тысячу вёрст, другому только семьсот. Один съедает три фунта хлеба, другой только два... Это — чисто личные потребности, и нет никакого основания заставлять первого платить в полтора больше. И такое уравнение обнаруживается даже в нашем индивидуалистическом обществе.

Кроме того, замечается стремление, хотя ещё и слабое, поставить потребности личности выше оценки услуг, которые она оказала или окажет когда-нибудь обществу. Общество рассматривается таким образом как целое, каждая часть которого так тесно связана со всеми другими, что услуга, оказанная кому-нибудь, есть вместе с тем — услуга, оказанная всем.

Когда вы приходите в общественную библиотеку — только не в парижскую, а например в лондонскую или берлинскую, — библиотекарь не спрашивает вас, прежде чем дать нам нужную книгу, или хотя бы даже пятьдесят книг, какие услуги вы оказали обществу? Он просто даёт вам книги, а в случае надобности даже поможет вам найти книгу в каталоге, если вы не умеете сделать этого сами. Точно так же, за известный вступительный взнос — причём вклад в виде труда нередко даже предпочитается денежному взносу — научные общества открывают вам свои

музеи, сады, библиотеки, лаборатории, ежегодные празднества, — каждому члену безразлично, будь он Дарвин, или простой любитель.

В некоторых городах, если вы работаете над каким-нибудь изобретением, вы можете отправиться в особую мастерскую, где вам отведут место, дадут столярный верстак или станок и все необходимые инструменты, все приборы, — лишь бы только вы умели ими владеть, — и предоставят вам работать сколько хотите. — «Вот вам нужные инструменты, привлечите к своему делу друзей, если найдёте нужным, соединитесь с товарищами других ремёсел — или работайте в одиночку, если вам это больше нравится, — изобретайте воздухоплавательный снаряд, или не изобретайте ровно ничего — это ваше дело. У вас есть своя идея, и этого достаточно».

Точно так же добровольцы, принадлежащие к обществу спасения на водах, не спрашивают об их звании и заслугах у матросов тонущего корабля; они пускаются в море во время бури, рискуют своею жизнью среди разъярённых волн и нередко погибают сами, ради спасения людей, им совершенно неизвестных. Да и к чему им знать их? «В наших услугах нуждаются; там находятся человеческие существа, взывающие о помощи — этого достаточно: в этом уже заключается их право на спасение. Идём же спасать их!».

Таково направление — истинно коммунистическое — проявляющееся повсюду, во всевозможных формах, в самой среде нашего общества, исповедующего индивидуализм.

Но пусть завтра какое-нибудь бедствие, например, осада города неприятелем, постигнет один из наших больших городов — страшно эгоистичных в обыкновенное время, — и этот самый город решит, что, прежде всего, нужно удовлетворить потребности детей и стариков, не справляясь с услугами, которые они оказали, или окажут обществу; что нужно накормить прежде всего именно их, и что нужно заботиться обо всех сражающихся, независимо от ума или храбрости, которые проявит тот или другой из них; а затем тысячи женщин и мужчин будут наперерыв проявлять своё самопожертвование в уходе за ранеными.

Итак, это стремление существует. Оно становится всё более заметным, по мере того, как удовлетворяются наиболее настоятельные потребности каждого, по мере того, как возрастает производительная сила человечества; ещё более делается оно заметным всякий раз, когда на место мелочных забот нашей ежедневной жизни выступает какая-нибудь общая идея.

Можно ли после этого сомневаться в том, что когда орудия производства перейдут в собственность всех, — когда работа будет производиться сообща, а труд, который займёт в обществе принадлежащее ему по праву почётное место, будет давать гораздо больше продуктов, чем требуется, — что это стремление (сильное уже и теперь) расширит область своего приложения и сделается основным началом общественной жизни?

В силу всех этих данных, а также и в виду практических соображений относительно экспроприации, о которой будет речь в следующих главах, мы думаем, что как только революция сломит силу, поддерживающую современный порядок,

нашею первою обязанностью будет немедленное осуществление коммунизма.

Но наш коммунизм не есть коммунизм фаланстера или коммунизм немецких теоретиков-государственников. Это — коммунизм анархический, коммунизм без правительства, коммунизм свободных людей. Это синтез двух целей, преследовавшихся человечеством во все времена — свободы экономической и свободы политической.

## II.

Принимая «анархию» как идеал политической организации, мы опять-таки лишь формулируем другое очевидное стремление человечества. Всякий раз, когда развитие европейских обществ давало им возможность сбросить с себя ярмо власти, общество так и делало, и немедленно пыталось установить такую систему взаимных отношений, которая основывалась бы на началах личной свободы. И мы видим в истории, что те времена, когда сила правительства бывала расшатана, ослаблена или доведена до наименьшей степени, путём местных или общих восстаний, были вместе с тем временами неожиданно быстрого развития хозяйственного и политического.

Мы видим это во времена независимых городов, настолько двинувших человечество вперёд, в какие-нибудь двести или триста лет, в науках, искусстве, ремёслах, архитектуре, что раньше того времени, за пять, десять веков не совершалось такого прогресса; видим на крестьянском восстании, совершившем Реформацию и грозившем уничтожить папскую власть, на свободном (в течение некоторого времени) обществе, создавшемся по ту сторону Атлантического океана, в Америке, недовольными элементами старой Европы.

И если мы присмотримся к современному развитию образованных народов, то мы ясно увидим, как в них всё более и более растёт движение с целью ограничить область действия правительства и предоставить личности всё большую и большую свободу. В этом именно направлении совершается современное развитие, хотя ему и мешает весь хлам унаследованных от прошлого учреждений и предрассудков. Как всякая эволюция, она только ждёт революции, чтобы разрушить стоящие ей на пути ветхие постройки и свободно проявиться в новом, возрождённом обществе.

Долго люди пытались разрешить неразрешимую задачу: «найти такое правительство, которое могло бы заставить личность повиноваться, причём само не выходило бы из повиновения обществу». Теперь же человечество старается освободиться вовсе от правительства и удовлетворять свои потребности путём свободного соглашения между личностями и группами, стремящимися к одной цели. Независимость каждой территориальной, земельной единицы, т.е. деревни, города, области, страны, становится настоятельною потребностью; взаимное соглашение заменяет собою понемногу законодательство и направляет отдельные частные интересы к одной общей цели, независимо от государственных границ.

Все отправления, которые недавно ещё считались исключительно принадлежностью государства, теперь оспариваются у него: без его вмешательства

люди устраиваются легче и удобнее. И, рассматривая успехи, сделанные уже в этом направлении, мы неизбежно приходим к заключению, что человечество стремится свести деятельность правительства к нулю и уничтожить государство — это олицетворение несправедливости, притеснения и всевозможных монополий в руках капиталистов.

Мы уже можем предвидеть такое общество, в котором личность, не связанная законами, будет руководиться исключительно привычками общественности, которая сама есть следствие испытываемой каждым из нас потребности искать поддержки, сотрудничества и сочувствия у других людей.

Представление об обществе без государства вызовет, конечно по меньшей мере, столько же возражений, как и представление о таком хозяйственном строе, в котором отсутствует частный капитал. Мы все выросли на целой куче предрассудков относительно государства, играющего роль Провидения в отношениях людей между собою. Всё наше воспитание, начиная с преподавания римских преданий, известных под названием римской истории, и кончая византийскими законами Юстиниана, которые изучаются под названием римского права, а также всевозможными науками «о праве», преподаваемыми в наших университетах, — всё приучает нас верить в правительство и в достоинство вездесущего и всемогущего государства.

Целые философские системы были выработаны и стали предметом преподавания, с целью поддержания этого предрассудка. С той же целью были созданы различные теории права. Вся политика основана на этом начале, и каждый политический деятель, к какой бы партии он ни принадлежал, всегда обращается к народу со словами: «Дайте *мне* в руки власть, и я вас избавлю от гнетущих вас бедствий: я имею возможность это сделать!»

От колыбели до могилы, все наши действия управляются этими же началами повиновения государству и всемогущества правительств. Откройте любую книгу по общественной науке (социологии), или по юриспруденции, и вы увидите что правительство, его организация и его действия всегда занимают в этих книгах такое важное место, что мы, учащиеся по ним, привыкаем думать, будто вне правительства и государственных людей ничего не существует. То же самое повторяется на все лады и в газетах. Целые столбцы посвящаются парламентским прениям и политическим козням, в то время, как вся огромная ежедневная жизнь народа, идущая своим путём вне государственной рамки, едва затрагивается в нескольких строках, — и то только по поводу какого-нибудь экономического явления, или по поводу какого-нибудь нового закона, или же по случаю какого-нибудь происшествия, сообщённого полицией. И когда вы читаете эти газеты, вы совершенно забываете думать о бесчисленном множестве существ, — т.-е., собственно говоря, обо всём человечестве, — которые растут и умирают, страдают, трудятся и потребляют, думают и творят, помимо этих навязчивых людей, которых мы до того возвеличили, что их тень, разросшаяся благодаря нашему невежеству, заслонила собою всё человечество.

А между тем, как только мы перейдём от печатной бумаги к самой жизни, как только мы взглянем на окружающее нас общество, мы будем поражены тем, что правительство играет такую незначительную роль. Ещё Бальзак заметил, что

миллионы крестьян живут всю свою жизнь, не зная относительно государства ничего, кроме того, что они вынуждены платить ему большие налоги. Миллионы торговых и всяких других сделок совершаются ежедневно без всякого вмешательства правительства, и самые крупные из них — коммерческие и биржевые сделки — заключаются так неформально, что правительство и не могло бы вмешаться в них, если бы одна из сторон возымела намерение не исполнить принятого обязательства. Поговорите с любым человеком, сведущим в коммерческих делах, и он вам скажет, что торговые операции, происходящие ежедневно, между коммерсантами, были бы совершенно невозможны, если бы громадное большинство из них не основывалось на взаимном доверии. Простая привычка держать слово, боязнь потерять кредит, оказывается более чем достаточными для поддержания той относительной честности, которая называется коммерческой честностью. Даже такие люди, которые без всякого зазрения совести станут отравлять своих покупателей негодным товаром, считают долгом чести исполнять свои обязательства по отношению к другим купцам. Но если эта относительная честность могла развиться даже при теперешних условиях, когда обогащение составляет единственный двигатель и единственную цель, то можем ли мы сомневаться в том, что её развитие пойдёт несравненно быстрее, как только присвоение чужого труда перестанет служить основой общественной жизни?

Другой поразительный факт, очень характерный для современной жизни, ещё красноречивее говорить о том же направлении. Это — постоянное увеличение области предприятий, основанных на частном почине, и необычайное развитие свободных союзов для всевозможных целей. Мы остановимся на этом подробнее в главах, посвящённых *свободному соглашению*; здесь же достаточно будет сказать, что этого рода факты так многочисленны и так обычны, что самую существенную черту второй половины нашего века следует признать развитие вольных союзов, хотя социалистические и политические писатели не замечают их и предпочитают постоянно говорить нам о благодетельной роли правительства в будущем.

Эти свободные, до бесконечности разнообразные организации, представляют собою настолько естественное явление; они растут так быстро, группируются так легко и составляют такой неизбежный результат постоянного возрастания потребностей образованного человека; и наконец, они так легко и выгодно заменяют собою правительственное вмешательство, что мы неизбежно должны признать в них явление, которого значение в жизни обществ неизбежно должно расти с каждым годом.

Если такие вольные союзы ещё не распространились на все общественные и жизненные явления, то это зависит только от того, что они встречают непреодолимые препятствия в бедности рабочих, в делении современного общества на касты, в частной собственности — и в особенности — в государстве. Уничтожьте эти препятствия и вы увидите, что они быстро покроют всё необозримое поле деятельности образованных людей.

История последнего пятидесятилетия служит также живым доказательством того, что никакое конституционное правительство не способно к исполнению тех отправления, которые государство захватило в свои руки. На девятнадцатый век



будут когда-нибудь указывать, как на эпоху крушения парламентаризма.

Это бессилие так очевидно для всех, ошибки парламентаризма и прирождённые недостатки так называемого представительного правления настолько бросаются в глаза, что те немногие мыслители, которые занялись критикой этой формы правления (Дж. Ст. Милль, Лавердэ), были лишь выразителями общего недовольства. Не нелепо ли, в самом деле, избрать нескольких человек и сказать им: «Пишите для нас законы относительно всех проявлений нашей жизни, даже если вы сами ничего не знаете об этих проявлениях?» Люди начинают понимать, что так называемое «правление большинства» на деле значит — отдать все дела страны в руки тех немногих, которыми составляется большинство во всякой Палате, — т.-е. в руки «болотных жаб», как их называли во время французской революции, или людей, которые не имеют никаких определённых воззрений, а пристают то к «правой», то к «левой» партии, смотря по тому, откуда дует ветер и с кого можно больше сорвать. Конституционное правление конечно было шагом вперёд против неограниченного правления дворцовых партий, но человечество не может закиснуть на нём: оно ищет уже новых выходов — и не находит их.

Всемирный почтовый союз, общества железных дорог, различные учёные общества представляют собою примеры предприятий, основанных на свободном соглашении, заменившем собою закон.

В настоящее время, когда какие-нибудь группы, рассеянные в различных концах земного шара, хотят организовать с какою-нибудь целью, они уже не выбирают интернационального парламента из «пригодных на всякое дело депутатов» и не говорят им: «Дайте нам закон и мы будем вам повиноваться». Если нет возможности сговориться прямо, или при помощи переписки, они посылают на конгресс людей, специально изучивших данный вопрос, которым говорят: «Постарайтесь сговориться относительно того-то и того-то и возвращайтесь к нам — не с готовыми законами в кармане — они нам не нужны, — а с *проектом соглашения*, которое мы можем принять, но можем и не принять».

Так делают, между прочим, вот уже полвека, английские рабочие союзы. Они ничего не привозят со своих съездов, кроме *предложений*, которые рассматриваются каждым союзом порознь и либо принимаются им, либо отвергаются. Точно так же поступают и крупные промышленные компании, учёные общества и всевозможные союзы, покрывающее целую сетью Европу и Соединённые Штаты. Так же станет поступать и общество, освободившееся от государственной власти. Чтобы отнять землю, фабрики и заводы у тех, кто ими владеет теперь, парламенты окажутся совершенно негодными. Покуда общество было основано на крепостном праве, оно могло мириться с неограниченной монархией; а когда оно основалось на наёмном труде и эксплуатации масс капиталистами, оно нашло лучший оплот эксплуатации в парламентаризме. Но общество свободное, взявшее в свои руки общее наследие, — землю, фабрики, капиталы — должно будет искать новой политической организации, соответствующей новой хозяйственной жизни — организации, основанной на свободном союзе и вольной федерации.

Каждому экономическому фазису соответствует в истории свой политический фазис; нельзя разрушить теперешнюю форму собственности, не введя вместе с тем

и нового строя политической жизни.

# Экспроприация.

## I.

Рассказывают, что в 1848 году, когда революция заставила Ротшильда дрожать за своё состояние, он выдумал следующую штуку. — «Хорошо, сказал он, допустим, что моё богатство нажито на счёт других. Но если его разделить поровну между всеми жителями Европы, то на каждого придётся не больше одного пятифранковика (двух рублей). Что ж, я согласен выдать каждому его пятифранковик, если он его потребует».

Объявивши это и опубликовавши свои слова, богач стал спокойно разгуливать по улицам Франкфурта. Раза три или четыре к нему подходили люди и просили вернуть им их пятифранковики, что он и делал с дьявольски насмешливой улыбкой. Фокус, таким образом, удался, и потомство миллионера продолжает до сих пор владеть своими миллионами.

Почти так же рассуждают и те буржуазные мудрецы, которые говорят нам: «А, экспроприация! Понимаю. Это значит, взять у каждого пальто, сложить их все в кучу, а затем пусть каждый берёт себе пальто из кучи и дерётся за самое лучшее со всеми остальными!» Но в действительности, эта болтовня — не более, как глупая шутка. Мы вовсе не хотим складывать в кучу все пальто, чтобы потом распределять их (хотя даже и при такой системе те, которые дрожат теперь от холода без одежды, — всё-таки остались бы в выигрыше). Точно также мы вовсе не хотим и делить деньги Ротшильда. Мы хотим устроить так, чтобы каждому родящемуся на свет человеческому существу было обеспечено, во-первых, то, что оно выучится какому-нибудь производительному труду и приобретёт в нём навык, а во-вторых, то, что оно сможет заниматься этим трудом, не спрашивая на то разрешения у какого-нибудь собственника или хозяина, и не отдавая львиной доли всего труда людям, захватившим в свои руки землю и машины.

Что же касается до различных богатств, находящихся во владении Ротшильдов или Вандербильтов, то они только помогут нам лучше организовать наше производство сообща.

Когда крестьянин сможет пахать землю, не отдавая царю и помещику половину жатвы; когда все машины, нужные для того, чтобы вспахать и удобрить землю будут в изобилии, в распоряжении самого пахаря; когда фабричный рабочий будет производить для общества, а не для тех, кто пользуется его бедностью, — тогда рабочие перестанут ходить впроголодь, в лохмотьях; и ни Ротшильдов, ни других эксплуататоров больше не будет. Раз никто не будет вынужден продавать свою рабочую силу за такую плату, которая представляет лишь часть того, что он выработал, — тогда и Ротшильдам неоткуда взяться.

— Ну, хорошо, — скажут нам. «Но, ведь, к вам могут явиться Ротшильды извне. Можете ли вы помешать человеку нажить миллионы где-нибудь в Китае, а затем приехать и поселиться у вас? Можете ли вы помешать ему окружить себя наёмными

слугами и рабочими, эксплуатировать их и обогащаться на их счёт?»

«Не можете же вы произвести революцию на всём земном шаре в одно время. Что же тогда? Уж не станете ли вы устраивать пограничные таможи и обыскивать приезжающих, чтоб конфисковать ввозимые ими деньги? Жандармы-анархисты, стреляющие по путешественникам вот будет любопытное зрелище!»

В основе всех этих рассуждений лежит одна крупная ошибка: люди не задаются вопросам о том, откуда происходит состояние богачей? А между тем, стоит только немного подумать, чтобы увидеть, что богатство одних зависит исключительно от бедности других. Там, где не будет бедных, не будет и эксплуатирующих их богачей. Только из нищеты народа и создаются богатства.

Возьмите, в самом деле, средние века, в ту пору, когда начали зарождаться крупные состояния. Какой-нибудь феодальный барон (а в России — боярин или князь) захватывал тогда целую плодородную, незаселённую область. Но пока эта земля не была заселена, он совсем не был богат; земля ничего ему не приносила и имела для него не больше цены, чем какие-нибудь поместья на луне. — Что же делал наш барон, чтоб обогатиться? — Он искал крестьян, бедноту.

Но если бы у каждого крестьянина был клочок земли, не обложенный никакими податями, если бы у него были, кроме того, нужные орудия и скот, то кто же пошёл бы работать на земли барона? Каждый несомненно остался бы работать у себя, и барон оставался бы ни причём. Но в действительности, барон находил целые селения бедняков разорённых войнами, засухами, чумой, падежами, не имевших ни лошади, ни плуга (железо в средние века было дорого, дороги были и рабочие лошади).

Везде были такие бедняки, искавшие возможности устроиться где-нибудь получше и бродившие ради этого по дорогам. И вот они видели где-нибудь на перекрёстке, на границе владений нашего барона, столб, на котором обозначено было различными крестами и другими понятными для них знаками, что крестьянин, который поселится на этой земле, получит, кроме земли, соху, лес для избы, лошадь и семена, никому ничего не платя столько-то лет. Число этих годов, скажем девять лет — и бывало отмечено на столбе девятью крестами и крестьянин хорошо понимал, что значат эти кресты.

И вот беднота шла селиться на землях барона. Они прокладывали дороги, осушали болота, строили деревни, обзаводились скотом и сперва никаких податей не платили. Затем, через девять лет, барон заставлял их заключить с ним арендный договор, а ещё через пять — заставлял платить себе оброк потяжеле, а там опять увеличивал его, покуда у крестьян хватало сил платить; и крестьянин соглашался на новые условия, потому что лучших он не мог найти нигде. И вот мало-помалу, особенно при содействии законов, которые писались баронами, нищета крестьянина становилась источником обогащения помещика, и не одного только помещика, а ещё и целого роя ростовщиков, которые набрасывались на деревню и всё более плодились по мере того, как крестьянину становилось тяжелее платить. А там, глядишь, крестьянин становился и крепостным барона, и уже никуда не смел уйти с земли.

Так было в средние века. Но не происходит ли то же самое и теперь? Если бы были свободны земли, которые крестьянин мог бы свободно обрабатывать, разве он стал бы платить барону по сто рублей за десятину в вечность? Разве он стал бы платить непосильную арендную плату, отнимающую у него треть, а не то и больше всей его жатвы? Разве он согласился бы сделаться половником, т.-е. отдавать собственнику половину своего урожая?

Но у него ничего нет, — а потому он и соглашается на всё, лишь бы ему позволили кормиться с земли, и своим потом и кровью он обогащает помещика. Из мужичьей бедности — из нищеты — растут княжеские, графские и купеческие капиталы, в нашем двадцатом веке, точно так же, как и в средние века.

## II.

Помещик богатеет от мужичьей бедности; и точно так же от чужой бедности богатеет хозяин фабрики и завода. Вот, например, буржуй, который тем или иным путём оказался обладателем суммы в двести тысяч рублей. Он может, конечно, проживать их по двадцати тысяч в год, что при нынешней безумной роскоши, в сущности не особенно много. Но тогда, через десять лет у него ничего не останется. Потому, в качестве человека «практического», он предпочитает сохранить свой капитал в целости и, кроме того, создать себе порядочный ежегодный доходец.

Добиться этого, в нашем теперешнем обществе — очень просто, именно потому, что города и деревни кишат рабочим людом, которому не на что прожить даже одного месяца, даже и недели. И вот наш буржуа находит подходящего инженера и строит завод. Банкиры охотно дают ему займы ещё двести тысяч рублей — особенно если он пользуется репутацией продувного человека, — и с помощью этого капитала он уже получает возможность заставить работать на себя, ну, хоть, четыреста рабочих.

Но если бы кругом его, в каждом городе и деревне люди имели обеспеченное существование, — кто же пошёл бы работать к нашему буржуа? Никто не согласился бы работать на него за рубль в день, когда всякий знает, что если продать товар, сработанный в один день, за него можно получить три или даже пять рублей. К несчастью, как нам всем хорошо известно, бедные кварталы городов и соседние деревни полны голодающих семей, и не успеет завод отстроиться, как рабочие уже сбегаются со всех сторон. «Прими нас, батюшка, Христа ради; уж мы рады на тебя стараться, а нам лишь бы подати заплатить да ребятишек прокормить». Их было нужно, может быть, триста, а явилась целая тысяча. И, как только завод начнёт работать, хозяин — если он только не совершенный дурак — будет получать с каждого работающего у него рабочего около двух или трёх сот рублей ежегодно. У него составится, таким образом, порядочный доходец, и если он выбрал выгодную отрасль производства, и обладает при этом некоторою ловкостью, то он будет расширять понемногу свой завод, удвоит число обираемых им рабочих и ещё увеличит свой доход.

Тогда он станет почтенным лицом в городе и сможет принимать у себя других

таких же почтенных чиновников, а не то и губернатора; потом он постарается соединить своё состояние с другим большим состоянием, обвенчавшись с богатою невестою, выхлопочет выгодные местишки для своих детей, и, наконец, получит какой-нибудь заказ от государства: ну, хоть, поставку гнилых сапог для войска или гнилой муки для местной тюрьмы. Тут он уже совсем округлит свой капитал, а если на его счастье случится война, или пройдёт просто слух о войне, он уже не упустит случая: либо окажется подрядчиком, либо совершит какое-нибудь крупное биржевое мошенничество, и станет тузом.

Девять десятых тех колоссальных богатств, которые мы видим в Соединённых Штатах, обязаны своим происхождением (как показал Генри Джордж в своей книге «Социальные Вопросы») какому-нибудь крупному мошенничеству, совершённого с помощью государства. В Европе, во всех наших монархиях и республиках, девять десятых состояний имеют то же происхождение: сделаться миллионером можно только таким путём.

Вся наука обогащения сводится к этому: найти бедняков, платить им треть или четверть того, что они смогут сработать и накопить таким образом состояние; затем увеличить его посредством какой-нибудь крупной операции при помощи государства.

Стоит ли говорить после этого о тех небольших состояниях, которые экономисты приписывают «сбережениям», тогда как в действительности «сбережения» сами по себе не приносят ничего, если только сбережённые деньги не употребляются на эксплуатацию бедняков.

Вот, например, сапожник. Допустим, что его труд хорошо оплачивается, что у него всегда есть выгодные заказы и что, ценою ряда лишений, ему удаётся откладывать по рублю в день или двадцать пять рублей в месяц. Допустим, что ему никогда не случается болеть, что, несмотря на свою страсть к сбережению, он хорошо питается, что он не женат, или что у него нет детей, что он не умрёт в конце-концов от чахотки — допустим всё, что вам угодно! Мечтать — так мечтать! И всё-таки, к пятидесяти годам он не накопит даже девяти тысяч рублей, и с этим запасом ему нечем будет прожить, когда он состарится и больше не сможет работать. Нет, большие состояния, очевидно, наживаются не так.

Но представим себе другой случай. Как только наш сапожник накопит немного денег, он сейчас же снесёт их в сберегательную кассу, которая даст их взаймы какому-нибудь буржуа, — предпринимателю по эксплуатации бедняков. Затем, этот сапожник возьмёт себе ученика — сына какого-нибудь бедняка, который будет считать себя счастливым, если мальчик выучится через пять лет ремеслу и сможет зарабатывать свой хлеб.

Ученик будет доставлять нашему сапожнику доходец и, если только у него будут заказы, он возьмёт ещё и второго и третьего ученика. Позднее он наймёт рабочих, — бедняков, которые будут очень рада получать рубль или полтинник в день, за работу, которая стоит трёх или четырёх рублей. И если нашему сапожнику «повезёт», т.-е. если он окажется достаточно ловким, его рабочие и ученики будут доставлять ему около десяти рублей в день дохода, помимо его собственного труда.

Тогда он сможет расширить своё предприятие, начнёт мало-помалу обогащаться и не будет вынужден экономить на необходимой, пище. И, в конце-концов, он оставит своему сыну маленькое наследство.

Вот что и называется «быть экономным, сделать сбережения». В сущности всё это значит просто — уметь наживаться трудом тех, кому есть нечего.

Торговля, на первый взгляд, кажется исключением из этого правила. — «Вот, например», скажут нам, «человек, который покупает чай в Китае, привозит его во Францию и, таким образом, получает тридцать процентов прибыли на свой капитал; он никого не эксплуатирует».

А между тем, в сущности, и в торговле всё то же. Если бы наш торговец переносил чай на своей собственной спине, тогда — другое дело. В былые времена, в начале средних веков торговля именно так и велась. Поэтому таких чудовищных состояний, как в наше время, и нельзя было нажить: после трудного и опасного путешествия, купцу едва-едва удавалось отложить небольшой барыш. Люди занимались торговлей не столько ради барыша, сколько ради любви к путешествиям и к приключениям.

Теперь же дело происходит гораздо проще. Купец, обладающий капиталом, может обогащаться, не трогаясь с места. Он поручает по телеграфу комиссионеру купить сто тонн чая; зафрахтовывает корабль и через несколько недель — или через три месяца, если путешествие совершается на парусном судне — корабль привозит ему его товар. Он не рискует даже возможными приключениями в путешествии, так как и товар его и корабль застрахованы. Если он затратил пятьдесят тысяч рублей, он получит теперь шестьдесят и, повторяя те же операции раза три в год, будет жить себе барином. Риск, опасность будет только тогда, когда он захочет спекулировать на каком-нибудь новом товаре: тогда он может или сразу удвоить своё состояние или разом всё потерять.

Но спрашивается, где же он нашёл людей, которые за ничтожный матросский заработок решились пуститься в плавание, совершить путешествие в Китай и обратно, решились столько работать, утомляться, рисковать жизнью? Как мог он найти в доках разгрузчиков и нагрузчиков, которые работали на него, как волы, и которым он платил ровно столько, сколько нужно было, чтобы они не умерли с голоду? Как это всё ему удалось? Ответ прост. — Только благодаря тому, что бедноты везде не оберёшься! Пойдите в любую гавань, обойдите там кабаки, посмотрите на босяков, которые приходят туда наниматься и дерутся у ворот лондонских доков, осаждая их с раннего утра, чтобы только получить возможность работать на кораблях. Посмотрите на этих моряков, которые радуются, когда после целых недель и месяцев ожидания им удаётся наняться в дальнее плавание! Всю свою жизнь они провели, переходя с одного корабля на другой, и будут путешествовать ещё на многих кораблях, пока, наконец, не погибнут где-нибудь в море.

Войдите в их хижины, посмотрите на их жён и детей, одетых в лохмотья, живущих неизвестно как, в ожидании возвращения отца — и вы узнаете, как и почему богатеет купец.

Возьмите примеры откуда хотите и сколько хотите; подумайте сами над происхождением всех состояний, крупных и мелких, — чему бы они ни были обязаны своим происхождением: торговле, банковым операциям, промышленности или владению землёю — и вы увидите, что повсюду богатство одних основывается на бедности других. А раз оно так, то анархическому обществу нечего будет бояться неизвестного Ротшильда, который явился бы вдруг и поселился в его среде. Если каждый член общества будет знать, что после нескольких часов производительного труда, он будет иметь право пользоваться всеми наслаждениями, доставляемыми цивилизацией, всеми удовольствиями, которые даёт человеку наука и искусство, он не станет продавать за ничтожную плату свою рабочую силу. Для обогащения такого Ротшильда не найдётся нужной бедноты. Его деньги будут не больше, как куски металла, пригодные для разных поделок, но плодиться и рожать новые золотые и серебряные кружки, они больше не смогут.

\* \* \*

Этот ответ на возражение определяет вместе с тем и пределы экспроприации. Экспроприировать, взять назад в руки общества — нужно *всё то*, что даёт возможность кому бы то ни было — банкиру, промышленнику или землевладельцу — присваивать себе чужой труд. Оно просто и понятно.

Мы вовсе не хотим отнимать у каждого его пальто, но мы хотим отдать в руки рабочих *всё* — решительно всё, что даёт возможность кому бы то ни было их эксплуатировать. И мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы никто не нуждался ни в чём и чтобы, вместе с тем, не было *ни одного* человека, который был бы *вынужден* продавать свою рабочую силу, чтобы обеспечить существование своё и своих детей.

Вот что мы понимаем под экспроприацией и вот как мы смотрим на наши обязанности во время революции — революции, до которой мы надеемся дожить, не через сто лет, а в *недалёком* будущем.

### III.

Анархические идеи вообще и идея экспроприации в частности встречаются среди людей независимых и среди людей, которые не считают праздность высшею целью жизни, гораздо больше сочувствия, чем обыкновенно думают. «Но берегитесь», часто говорят нам такие друзья: «не заходите слишком далеко; человечество не меняется в один день, и не следует слишком торопиться с вашими планами экспроприации и анархии. Вы рискуете таким образом не добиться никаких прочных результатов».

По отношению к экспроприации, если мы чего боимся, то уже во всяком случае не того, чтобы — люди зашли слишком далеко. Мы боимся наоборот, что экспроприация произойдёт в слишком незначительных размерах для того, чтобы быть прочною; что революционный порыв остановится на полдороге, что он разменяется на мелочи, на полумеры. Полумеры же никого не удовлетворят, а только



произведут в обществе очень сильное потрясение и нарушат его обычное течение, но окажутся, в сущности, мертворождёнными, как все полумеры, и, не вызвав ничего, кроме всеобщего недовольства, приведут неизбежно к торжеству реакции.

Дело в том, что в нашем обществе существуют известные установившиеся отношения, которые совершенно невозможно изменять по частям. Все части того механизма, который представляет собою наше хозяйственное устройство, так тесно связаны между собою, что невозможно дотронуться до одной из них, не затронув вместе с тем всего остального. В этом убедятся революционеры при первой же попытке экспроприировать что бы то ни было.

Представим, себе, что в какой-нибудь местности происходит такая частичная, ограниченная экспроприация; что экспроприируют например, крупных земельных собственников, не касаясь фабрик — как предлагал некогда Генри Джордж; или представим себе, что в каком-нибудь городе экспроприируют дома, не обращая в то же время в общую собственность съестных припасов; или же, что в какой-нибудь местности экспроприируют фабрики, не трогая крупной поземельной собственности. Результат будет всегда один и тот же: огромное потрясение во всей хозяйственной жизни, при отсутствии возможности перестроить эту хозяйственную жизнь на новых началах; приостановка в промышленности и обмене, без возвращения к принципам справедливости; невозможность для общества восстановить гармонию целого.

Если крестьянин освободится от барина, а в то же время промышленность не освободится от власти капиталиста, купца и банкира, то результата не получится никакого. Крестьянин страдает в настоящее время не только от того, что ему приходится платить аренду собственнику земли, но и от всей совокупности современных условий: от подати, которую с него взимает фабрикант, продающий ему за рубль заступ, который стоит — сравнительно с работой крестьянина — не больше полтинника; от налогов, которые взимает с него государство, существование которого невозможно без целой толпы чиновников: страдает он от издержек на содержание войска, которое нужно государству потому, что капиталисты всех народов ведут между собою непрерывную войну за рынки, и что из-за права обирать ту или другую часть Азии или Африки каждый день может вспыхнуть война. Крестьянин страдает в Западной Европе от обезлюдения деревень, из которых молодёжь уходит в большие города, куда её привлекает временно более высокая заработная плата, получаемая на производстве предметов роскоши, или же удовольствия более живой жизни; он страдает кроме того, от искусственного поощрения промышленности, в ущерб сельскому хозяйству; от торговой эксплуатации других стран; от биржевых спекуляций, от трудности улучшить почву и усовершенствовать свои орудия и т. д. и т. д. Словом, земледелие страдает не только от того, что приходится платить аренду (постоянно повышаемую) за землю, но от всей совокупности условий существования наших обществ, основанных на эксплуатации. И если бы даже экспроприация дала возможность каждому обрабатывать землю и пользоваться её плодами, не платя никому земельной ренты, земледелие, хотя и почувствовало бы некоторое временное облегчение, но во всяком случае, быстро бы вернулось назад к тому же подавленному состоянию, в каком находится теперь. Всё пришлось бы начинать сначала, — только к прежним

затруднениям прибавились бы ещё новые.

То же самое и с промышленностью. Попробуйте завтра передать фабрики в руки рабочих, т.-е. сделайте то, что было сделано для некоторых крестьян, ставших собственниками земли; попробуйте уничтожить фабрикантов, но оставьте землю в собственности помещиков, деньги в собственности банкиров, биржу — в собственности торгашей. Сохраните, одним словом, всю массу тунеядцев, живущих на счёт труда рабочего, и всех существующих посредников, живущих с чужого труда, а также — сохраните государство с его бесчисленными чиновниками — и вы увидите, что положение промышленности нисколько не улучшится. Не находя покупателей в массе крестьян, оставшихся бедняками, не имея сырого материала и не обладая возможностью вывозить свои продукты — отчасти вследствие застоя в торговле, главное же благодаря тому, что промышленность распространяется повсюду — она неизбежно должна прозябать. Фабрики начнут закрываться, рабочие окажутся выброшенными на улицу и голодные толпы их будут готовы подчиниться первому встреченному политическому пройдохе, вроде Наполеона III, или даже вернуться к старому порядку, — лишь бы им обеспечили правильную плату за их труд.

Или — попробуйте экспроприировать земельных собственников и передать фабрики в руки рабочих, не касаясь при этом толпы посредников, которые сбывают продукты наших мануфактур и спекулируют в крупных городах на муку, на хлеб, на мясо — на всё! Обмен тогда приостановится, продукты перестанут двигаться по стране, Париж останется без хлеба, а Лион не будет находить сбыта для своего шёлка — и реакция воцарится опять с ужасающей силой, на трупах рабочих, опустошая картечью города и деревни, среди оргий, казней и ссылок, как это и было в 1815-м, 1848-м и 1871-м годах.

В нашем обществе всё так тесно связано между собою, что невозможно коснуться одной какой-нибудь отрасли хозяйства, без того, чтобы это не отозвалось на всех остальных. Как только частная собственность будет уничтожена в одной какой-нибудь форме, поземельной или промышленной, её нужно будет уничтожить и во всех остальных. Самый успех революции сделает это необходимым.

Впрочем, мы не могли бы ограничиться частичной экспроприацией, даже если бы хотели этого. Как только самый *принцип* «священной собственности» будет поколеблен, никакие теоретики не смогут помешать её исчезновению под ударами её взбунтовавшихся рабов — земледельческих, промышленных, железнодорожных, торговых. Если какой-нибудь большой город, например, Париж, возьмёт в свою собственность дома или фабрики, то он, самую силою вещей будет вынужден отвергнуть и права банкиров на взимание с Парижа пятидесяти миллионов годового налога, в виде процентов на прошлые займы. Точно так же, вступивши в сношения с земледельческими рабочими, ему придётся побудить их освободиться от поземельных собственников. Придётся экспроприировать землю, хотя бы в окрестностях Парижа. Чтобы кормиться и работать, городу придётся также экспроприировать железные дороги; и наконец, чтобы пищевые продукты не тратились зря, и чтобы не оставаться во власти спекуляторов на хлеб — как это случилось с коммунаой 1793 года — самим гражданам Парижа придётся заняться

устройством запасных магазинов и распределением хлеба и всякой пищи.

\* \* \*

Некоторые социалисты, однако, попытались ввести ещё одно различие. — «Хорошо», говорили они, «пусть экспроприируют землю, угольные копи, фабрики и заводы. Это — орудия производства и они должны по справедливости рассматриваться как общая собственность. Но, кроме того, существуют ещё предметы потребления: пища, одежда, жилище, которые должны остаться в частной собственности».

Народный здравый смысл быстро порешил с этим слишком тонким различием. Во-первых, мы не дикари и не можем жить в лесу, в убежище из ветвей; для работающего европейца нужна комната, нужен дом, нужна кровать, нужна печка. Для того, кто ничего не производит, кровать, комната, дом — это среда для безделья. Но для человека работающего, отопленная и освещённая комната является таким же средством производства, как какой-нибудь инструмент или машина. Это — место, где восстанавливаются его мускулы и нервы, которые он завтра будет тратить на работе. Отдых производителя это — подготовка машины к действию.

По отношению же к пище, это ещё очевиднее. Тем якобы экономистам, о которых мы говорим, никогда не приходило в голову утверждать, что уголь, сгорающий в машине, не входит в число предметов, столь же необходимых для производства, как и сырой хлопок или железная руда. Почему же пища, без которой человеческая машина не способна ни на малейшее усилие, исключается из предметов необходимых для производителя? Что это? Остаток религиозной метафизики?

Обильный и утончённый обед богача, конечно, представляет собою потребление предметов роскоши. Но обед производителя есть такое же необходимое условие производства, как и сжигаемый паровой машиною уголь.

То же самое и по отношению к одежде. Если бы экономисты, устанавливающие это различие между орудиями производства и предметами потребления, ходили в костюме новогвинейских дикарей, тогда это было бы ещё понятно. Но людям, которые сами не могут написать ни строчки, не надевши рубашки, совсем не пригоже устанавливать такое резкое различие между рубашкою и пером. И если богатые туалеты их жён действительно предметы роскоши, то тем не менее существует известное количество полотна, бумажной и шерстяной ткани, без которых производитель не может производить. Блуза и обувь, без которых рабочему нельзя идти на работу, одежда, которую он оденет по окончании своего рабочего дня, и фуражка, которая у него на голове, так же необходимы ему, как молот или наковальня.

К счастью, народ понимает революцию именно так. Как только ему удастся смести различные правительства, он, прежде всего, постарается обеспечить себе здоровое помещение, достаточное питание и достаточную одежду, не платя никому за это никакой дани. И он будет прав. Его способ действия будет несомненно более

«научным», чем приём учёных экономистов, устанавливающих такие тонкие различия между орудиями производства и предметами потребления. Народ поймёт, что революция должна начаться именно с этого и положить таким образом основание единственной экономической науке, которая действительно сможет претендовать на название науки и которую можно будет определить как *изучение потребностей человечества и средств к их удовлетворению, без лишней траты сил.*

# Жизненные припасы.

## I.

Если будущая революция будет, действительно, революцией социальной, она будет отличаться от предыдущих движений не только по своим целям, но и по своим приёмам. Новая цель потребует и новых средств.

Мы видели три крупных народных движения во Франции в течение этого века; они различались между собою во многих отношениях, но все три имели одну общую черту. Всякий раз народ смело боролся ради свержения старого порядка, проливал свою драгоценную кровь, но затем, употребив на это все силы, отступал сам на задний план. Тогда образовывалось правительство из людей более или менее честных, которое и брало на себя задачу, или организовать Республику, как в 1793 году, или организовать труд, как в 1848, или организовать свободную коммуну, как в 1871 г.

Проникнутое насквозь якобинскими идеями, это правительство, заботилось, прежде всего, о вопросах политических: о перестройке правительственного механизма, об улучшениях в составе чиновников, об отделении Церкви от Государства, о политических правах и т. п. Правда, рабочие клубы зорко следили за новыми правителями и часто заставляли их действовать по-своему; но даже и в этих клубах — всё равно, ораторствовали ли там буржуа или рабочие — преобладало буржуазное направление: в них говорилось очень много о политических вопросах, и оставлялся в стороне вопрос о хлебе.

Великие идеи, перевернувшие мир, были высказаны в эти революционные эпохи; впервые произнесены были слова, до сих пор ещё, через сто лет, заставляющие биться наши сердца. Но в рабочих кварталах народ продолжал голодать!

Как только вспыхивала революция, работа неизбежно приостанавливалась. Движение товаров прекращалось, капиталы скрывались. Фабриканту это было не важно; если он и не наживался с чужой бедности, то жил на свою ренту; но рабочему приходилось перебиваться изо дня на день. Голод закрадывался в его конуру.

Народ начинал бедствовать, и нужда, которую он терпел, становилась даже сильнее, чем когда бы то ни было при старых порядках.

«Это жирондисты морят нас с голоду», говорили, в 1793 г., рабочие в предместьях. Жирондистов гильотинировали и власть переходила в руки Горы, в руки Парижской Коммуны — Маратистов. Эти последние, действительно, заботились о хлебе и употребляли героические усилия, чтобы прокормить Париж. В Лионе, Руше и Колло д'Эрбуа устроили запасные магазины, но они располагали слишком незначительными средствами, чтобы наполнить их. Городские Советы делали всё возможное, чтобы достать хлеба; торговцев, которые прятали муку, вешали, — а хлеба всё-таки не было!

Тогда взваливали вину на королевских заговорщиков. Их гильотинировали — по двенадцати, по пятнадцати человек в день — служанок и герцогинь, — особенно служанок, так как герцогини были в Кобленце. Но если бы даже гильотинировали по сто герцогов и графов в день, то и это ничему бы не помогло.

Нужда всё росла. Чем могла помочь лишняя тысяча трупов, когда для того, чтобы жить, нужно было получать плату за труд, а этой платы не было?

Тогда народ начинал разочаровываться. — «Хороша ваша революция!» — нашёптывали рабочим господа реакционеры. «Такой нищеты прежде никогда не было!» И вот, мало-помалу, богачи приободрились, выходили из своих убежищ и ещё более раздражали бедняков видом своей роскоши. «Невозможные», т.-е. богатые щёголи, наряженные в самые невероятные наряды, появлялись на улице, смело вызывая революционеров и твердили рабочим: «Полно, наконец, заниматься глупостями! Ну, что вы выиграли от Революции? Пора всё это бросить!»

Сердце сжималось у революционеров. — «Опять революция погибла!» говорили они между собой и уходили в свои норы, предоставляя событиям идти своим чередом.

Тогда являлась реакция, открытая и высокомерная, и совершала свой государственный переворот. Революция была убита, оставалось только растоптать её труп. И чего только не делали с этим трупом! Кровь лилась ручьями, белый террор рубил головы уже тысячами, наполнял тюрьмы, а оргии богачей начинались, ещё более буйные и вызывающие, чем когда-либо.

Таков был ход всех французских революций. В 1848-м году парижский рабочий отдавал в распоряжение республики «три месяца нужды», а когда через три месяца ему уже не было возможности больше терпеть, он сделал последнее усилие — и это усилие было затоплено в потоках крови.

В 1871 году Коммуна гибла от отсутствия борцов за неё. Она не забыла провозгласить отделение Церкви от Государства, но слишком поздно позаботилась о том, чтобы обеспечить для всех хлеб. В самый разгар борьбы, богатые господа в Париже потешались над коммунарами, говоря им: «Что ж, идите, глупые вы люди, защищать стены и рисковать жизнью за тридцать су (полтинник) в день, пока мы будем себе кутить по модным ресторанам!» Только в последние дни эта ошибка была понята и начали устраивать вольные столовые на средства Коммуны; но тогда уже было поздно: версальцы уже вступали в парижские укрепления.

— «Хлеба! Хлеба, прежде всего! Революции нужен хлеб!»

Пусть занимается кто хочет рассылкой громких циркуляров с трескучими фразами! Пусть кто хочет надевает на себя сколько угодно галунов! Пусть кто хочет рассуждает о политических правах!..

Наше дело будет устроить так, чтобы с первых же дней революции и во всё время пока она будет продолжаться, на пространстве, охваченном восстанием, не было ни одного человека, страдающего от недостатка хлеба, ни одной женщины, которой пришлось бы ждать своей очереди у булочных, пока ей бросят, как милостыню, кусок хлеба из отрубей; ни одного ребёнка, у которого бы не было того,

чего требует его слабый организм.

Задачею буржуазии было рассуждать во время революции о великих принципах, или, вернее, о великих обманах. Задача же народа будет в том, чтобы хлеб обеспечить всем и каждому. В то время, как буржуа и обуржуазившиеся рабочие будут играть в великих людей в своих говорильнях, пока «практические люди» будут вести бесконечные рассуждения о формах правления, — нам, «утопистам», придётся позаботиться о хлебе насущном.

Да, мы имеем дерзость утверждать, что всякий должен и может быть сытым, и что Революция победит именно тем, что обеспечит хлеб для всех.

## II.

Что мы «утописты» — это всем известно. Мы, действительно, настолько утописты, что решаемся утверждать, что революция должна и может обеспечить каждому помещение, одежду и хлеб, — и это, конечно, очень не нравится всем — красным и синим — буржуа, которые отлично знают, что если народ будет сыт, то справиться с ним будет очень трудно.

Да, мы упорно настаиваем на этом: восставшему народу нужно обеспечить хлеб, и вопрос о хлебе должен быть поставлен прежде всего. Если он разрешится в интересах народа, революция окажется на верном пути, потому что для решения вопроса о пропитании необходимо будет признать принцип равенства, помимо которого никакого решения быть не может.

Нет сомнения, что будущая революция разразится — как было с революцией 1848 года — во время какого-нибудь крупного промышленного кризиса. За последние тридцать лет, промышленность всё время перебивается кое-как между тучных и голодных лет, и это положение может только ухудшиться; всё способствует этому: — конкуренция молодых стран, выступающих на сцену в борьбе за старые рынки, войны, всё растущие налоги и государственные долги, неуверенность в будущем, крупные предприятия в отдалённых странах...

Миллионы европейских рабочих постоянно находятся без работы, и в тот момент, когда революция вспыхнет и начнёт распространяться, как огонь, вспыхнувший в порохе, общее положение промышленности может только ухудшиться. Как только в Европе или в Соединённых Штатах появятся баррикады, число рабочих без работы удвоится. Что же делать, чтобы прокормить всю эту массу людей?

Не знаю, задавались ли когда-нибудь этим вопросом, во всей его неумолимости, так называемые «практические» люди? Но мы знаем наверно, что они хотят сохранить *наёмный труд*, а потому, по всей вероятности, для доставления хлеба безработным, они станут проповедовать какие-нибудь «национальные мастерские», или «общественные работы».

Национальные мастерские открывали уже в 1789 и 1793 годах; к тому же средству прибегли в 1848 году; затем Наполеону III удалось, в течение восемнадцати

лет сдерживать парижский пролетариат, занимая его перестройкой Парижа, — чему Париж обязан своим двухмиллионным долгом и городским налогом в 90 франков с человека. Тем же прекрасным средством для «обуздания зверя» пользовались ещё в Риме и даже в Египте, четыре тысячи лет тому назад; наконец, все деспоты, короли и императоры, во все времена, отлично умели вовремя бросить народу кусок хлеба, чтобы воспользоваться передышкой и, тем временем, снова взяться за хлыст. Совершенно естественно поэтому, что «практические» люди будут проповедовать тот же самый излюбленный способ, лишь бы сохранить наёмный труд. Стоит ли, в самом деле, ломать себе голову, когда под руками есть средство, которым пользовались ещё египетские фараоны!

Но если только революция вступит на этот путь — она погибла.

Когда в 1848-м году открыли, 27 февраля, национальные мастерские, в Париже было всего восемь тысяч рабочих без работы. Через две недели их уже было 49.000 и было бы, вероятно, скоро сто тысяч, не считая тех, которые сбегались в Париж из провинции.

Но в 1848-м году промышленность и торговля не занимали во Франции и половины того количества рабочих рук, которое они занимают теперь. Известно, с другой стороны, что во всякой революции страдают больше всего именно обмен и промышленность. Подумайте только, сколько рабочих работают, прямо или косвенно, для вывоза, сколько рабочих рук занято в производстве предметов роскоши, имеющих сбыт среди меньшинства буржуазии.

Революция в Европе, это — немедленное прекращение работы по крайней мере половины всех фабрик и заводов. Это — миллионы рабочих, выброшенных на улицу вместе со своими семьями.

И вот этому-то поистине ужасному положению хотят помочь национальными мастерскими, т.-е. созданием новых промышленных предприятий для доставления работы безработным.

Нет сомнения, — и это говорил ещё Прудон, — что малейший захват частной собственности произведёт полную дезорганизацию всего нашего строя, основанного на частной собственности, частных предприятиях и наёмном труде. Прятать голову, как страус, жить иллюзиями, воображать, что во время революции фабрики будут работать по старому, и что к ним будут приливать заказы по старому — просто постыдно. Ничего этого не будет, и общество будет *вынуждено* взять в свои руки всё производство, в целом, и перестроить его соответственно *потребностям всего населения*. Но так как эта перестройка не может совершиться в один день или даже в один месяц, а потребует год или годы для приспособления к новым условиям — а в это время миллионы людей будут лишены всяких средств к существованию, — то является вопрос: Что делать?

При таких условиях возможно только одно, действительно *практическое* решение вопроса. Оно состоит в том, чтобы признать всю трудность предстоящей задачи и, вместо того, чтобы поддерживать положение вещей, которое сама революция делает невозможным — заняться перестройкой производства на совершенно новых началах.



Чтобы поступить практически, нужно, следовательно, по нашему мнению, чтобы народ немедленно же завладел всеми *продуктами*, имеющимися в тех местностях, где вспыхнула революция, составил им опись и чтобы он устроился так, чтобы ничего не пропадало даром, но чтобы все могли воспользоваться имеющимися накопленными продуктами и, таким образом, пережить критический период. И в это время, — обеспечив существование всех на несколько месяцев вперёд — нужно фабричным рабочим доставить сырой материал, которого у них нет в запасе, обеспечить таким образом их существование в течение нескольких месяцев и направить работу на производство предметов, настоятельно необходимых массе крестьян. Не нужно, в самом деле, забывать, что хотя Франция производит шелка для немецких банкиров и для императриц Российских и Сандвичевых островов, и хотя Париж выделяет всевозможные безделушки для богачей всего мира, у двух третей французских крестьян нет ни порядочной лампы для освещения их хижины, ни усовершенствованных земледельческих орудий, без которых в настоящее время, путное земледелие невозможно.

Наконец, нужно будет сделать годными для обработки те земли, которые теперь ничего не производят (а таких земель ещё очень много), и улучшить те, которые не производят даже четверти, даже десятой доли того, что они могли бы производить, если бы их отдать под усиленную, огородную и садовую обработку.

Это — единственное практическое решение вопроса, которое мы можем указать, решение, которое волей-неволей придётся принять — в силу самого хода вещей.

### III.

Выдающейся, отличительной чертой современного капиталистического строя является наёмный труд.

Лицо, или группа лиц, владеющих нужным капиталом, основывают промышленное предприятие, берут на себя доставку сырого материала для фабрики или завода, организацию производства, продажу продуктов и платят рабочим известную определённую плату; сами же они получают всю прибыль, под тем предлогом, что она представляет вознаграждение за их труд управления, за их риск и за колебания рыночных цен на данный товар.

Такова, в немногих словах, вся система *наёмного труда*.

Чтобы сохранить её, современные владельцы капитала готовы пойти на некоторые уступки, например, поделить с рабочими часть прибыли, или устроить подвижную шкалу заработной платы, так, чтобы плата рабочего поднималась, когда поднимается доход предприятия. Одним словом, они готовы согласиться на некоторые «жертвы», лишь бы только им оставили право управлять промышленностью и получать с неё доход.

Коллективизм, как известно, вносит в этот порядок существенные изменения, но сохраняет, однако, наёмный труд. Только на место частного хозяина становится Государство, т.-е. выборное правительство — для всей нации, или городское.

Во главе управления промышленностью становятся депутаты — представители нации или города и их уполномоченные, — их чиновники. Они же оставляют за собою и право расходовать в интересах всех получаемую прибыль. Кроме того, в этой системе коллективизма устанавливается очень тонкое различие между трудом чернорабочего и трудом человека, прошедшего через предварительное обучение: труд первого представляет собою, с точки зрения коллективиста, труд *простой*, тогда как ремесленник, инженер, учёный и т. п. занимаются трудом, который коллективисты называют трудом *сложным*, и поэтому имеют право на более высокую заработную плату. Но все они — чернорабочие и инженеры, ткачи и учёные — наёмники государства, «все — чиновники», как сказал недавно один из коллективистов, — чтобы позолотить пилюлю.

Самая большая услуга, которую будущая Революция сможет оказать человечеству, будет заключаться именно в том, чтобы создать такое положение вещей, где всякая форма наёмного труда станет невозможной и неосуществимой, и где единственным подходящим решением вопроса явится коммунизм, т.-е. именно отсутствие наёмного труда.

В самом деле, если мы даже допустим, что в спокойный период изменение в коллективистическом направлении возможно, (в чём мы, впрочем, даже при этих условиях, сильно сомневаемся), то в период революционный оно сделается невозможным, потому что, после первой же схватки возникнет тотчас же необходимость прокормить миллионы человеческих существ. Революция политическая может произойти не внося нарушений в ход промышленности, но революция, при которой народ завладевает собственностью, неизбежно вызовет тотчас же приостановку в обмене и производстве, и никаких миллионов государства не хватит для обеспечения заработной платы миллионам оставшихся без работы рабочих.

Повторяем: преобразование промышленности на новых началах (а как обширна эта задача — мы увидим ниже) не может произойти в несколько дней, а пролетариат не сможет предложить целые годы голодовки к услугам теоретиков наёмного труда. Чтобы пережить эпоху кризиса, он потребует того, чего требовал всегда в подобных случаях: обращения всех предметов потребления в общую собственность, распределения их между всеми.

Сколько бы не проповедовали народу терпение, он терпеть не станет, и если всё, что нужно для жизни — и хлеб прежде всего — не будет обращено в общую собственность, он начнёт грабить булочные. И тогда, если народ будет не в силе, его начнут расстреливать.

Для того, чтобы коллективизм мог сделать попытку практического осуществления, ему нужен прежде всего *порядок*, дисциплина, повиновение. А так как капиталисты быстро заметят, что заставить стрелять в народ людей, называющих себя революционерами, есть самое лучшее средство возбудить в народе вражду к революции, то они несомненно будут поддерживать защитников «порядка»; даже если они — коллективисты. Они увидят в этом средство уничтожить впоследствии и самих коллективистов.

А раз «порядок восстановлен», дальнейшие последствия предвидеть нетрудно. Расстреливать будут не одних только «воров»: придётся доискиваться и до «виновников беспорядков», восстановить суд и гильотину, и самые горячие революционеры погибнут на эшафоте. Совершится повторение 1793 года.

Вспомним, каким образом восторжествовала реакция в прошлом веке. Прежде всего гильотинировали Эбертистов, самых ярых — тех, кого Минье, ещё под свежим впечатлением борьбы, называл «анархистами». За ними скоро последовали сторонники Дантона, а когда робеспьеровцы гильотинировали всех этих революционеров, то и им самим пришла очередь всходить на эшафот. И тогда, разочаровавшись во всём, и видя, что революция погибла, народ предоставил поле действия реакционерам.

И вот, раз «порядок» будет «восстановлен», коллективисты прежде всего гильотинируют анархистов, затем POSSИБИЛИСТЫ гильотинируют коллективистов, которые, в свою очередь, будут гильотинированы реакционерами. Революцию придётся начинать сначала.

\* \* \*

Но есть основание думать, что влияние народа окажется *достаточно* сильным, и что к тому времени, когда произойдёт революция, идея анархического коммунизма успеет распространиться. Эта идея — не праздное измышление: её подсказал нам сам народ, и число коммунистов будет всё расти по мере того, как невозможность всякого другого выхода будет становиться всё более очевидной. Если коммунистическое влияние окажется достаточно сильным, дела примут совершенно иной оборот. Вместо того, чтобы грабить булочные, а на другой день опять голодать, восставший народ возьмёт в свои руки хлебные склады, бойни, магазины съестных припасов — одним словом, все имеющиеся в наличности пищевые запасы.

Сейчас же найдутся добровольцы, мужчины и женщины, чтобы составить опись, инвентарь всего, находящегося в магазинах и хлебных складах, и через двадцать четыре часа восставшая Коммуна будет знать то, чего Париж не знает до сих пор, несмотря на все статистические комитеты, и чего он никогда не мог узнать во время осады, а именно — сколько в нём находится съестных припасов. А через сорок восемь часов уже будут изданы в миллионах экземпляров точные списки всех имеющихся продуктов, указаны места, где они находятся, и способы их распределения.

В каждой группе домов, в каждой улице, в каждом квартале организуются группы добровольцев для заведования съестными припасами, и они, конечно, сумеют столкнуться между собою и сообщить друг другу о результатах своей работы. Пусть только якобинские штыки не вмешиваются в это дело, пусть только так называемые «научные» теоретики не пытаются вносить свою путаницу, или, вернее — пусть себе запутывают мозги сколько угодно, лишь бы у них не было права распоряжаться! Та удивительная способность к свободной организации, которая свойственна в высокой степени народу — особенно же народу

французскому, во всех его общественных слоях, и которой так редко дают возможность проявиться, — создаст, даже в большом городе, как Париж, и даже в самый разгар революционного возбуждения, целую естественно выросшую организацию, имеющую целью доставить каждому необходимые припасы.

Пусть только предоставят народу свободу действия, и через неделю распределение припасов будет происходить с удивительною правильностью. Сомневаться в этом может только тот, кто никогда не видел рабочего народа в действии, кто провёл всю жизнь уткнувшись в бумаги. Поговорите же об организаторском духе народа — этого великого непризнанного гения — с тем, кто видел его в Париже в дни баррикад, во время Коммуны, или в Лондоне, во время большой стачки в гавани, когда приходилось прокармливать полмиллиона голодных людей, и они скажут вам, насколько народ стоит в этом отношении выше всех канцелярских чиновников!

Но если бы даже пришлось пострадать, в течение каких-нибудь двух недель или месяца, от некоторого относительного беспорядка — то, что же из этого? Для массы народа это будет, во всяком случае, лучше чем то, что существует теперь; да кроме того, во время Революции — лишь бы чувствовалось, что революция идёт вперёд, а не топчется на месте, — люди обедают, не жалуясь на то, куском чёрствого хлеба, в атмосфере ликования или вернее в атмосфере горячих рассуждений! Во всяком случае, то, что создаётся само собою, под давлением непосредственных потребностей, будет несравненно лучше того, что выдумают где-нибудь в четырёх стенах, за книгами, или в канцеляриях Городской Думы.

#### IV.

Силою вещей, таким образом, население больших городов вынуждено будет завладеть всеми припасами и, переходя от более простого к более сложному, вынуждено будет взять на себя удовлетворение потребностей всех жителей. Чем скорее это сделается, тем лучше: тем меньше будет нужды и внутренней борьбы.

Но затем совершенно естественно является вопрос: на каких именно основаниях организуются люди для пользования сообща этими продуктами?

Для того, чтобы распределение было справедливо, существует только один способ — единственный, отвечающий чувствам справедливости, и вместе с тем, действительно практичный. Это — та система, которая принята и теперь в поземельных общинах всей Европы.

Возьмите крестьянскую общину, где бы то ни было, даже во Франции, хотя в ней якобинцы сделали всё возможное, чтобы уничтожить общинные обычаи. Если, например, община имеет в своём владении лес, то, пока мелкого леса достаточно, всякий имеет право брать его *сколько хочет*, без всякого другого учёта, кроме общественного мнения своих односельчан. Что же касается крупного леса, которого никогда не бывает достаточно, то право каждого жителя на крупные лесины ограничено, т.-е. в каждом случае мир должен решить, сколько деревьев можно вырубить на каждый двор.

То же самое происходит и с общинными лугами. Пока лугов достаточно для всей общины, никто не учитывает того, сколько съели коровы каждого или сколько коров пасётся на лугу. К дележу или к ограничению прав каждого жителя, прибегают лишь тогда, когда луга оказываются в недостаточном количестве. Эта система практикуется во всей Швейцарии и во многих общинах Франции и Германии — повсюду, где существуют общинные луга.

Если же вы обратитесь к странам восточной Европы — например к России, где и крупного леса достаточно в лесистых областях, и земли ещё много (напр., в Сибири), вы увидите, что крестьяне рубят и крупные деревья в лесу в таком количестве, какое им нужно, и обрабатывают столько земли, сколько для них необходимо, не думая ещё об ограничении права на лес или о дележе земли. Но как только леса или земли становится мало, право каждого на лес бывает ограничено, а земля делится по потребностям каждой семьи.

Одним словом: пусть каждый берёт сколько угодно всего, что имеется в изобилии и получает ограниченное количество только того, что приходится считать и делить! На 350 миллионов людей, населяющих Европу, двести миллионов и по сию пору следуют этим двум, вполне естественным приёмам.

Заметим ещё одно. Та же самая система господствует и в больших городах, по крайней мере по отношению к одному продукту, который находится там в изобилии: к проведённой в дома воде.

Пока воды в водопроводах достаточно для всех домов и нечего бояться недостатка, никакой компании не приходит в голову издавать законы насчёт пользования водою в каждой семье. Берите, сколько вам угодно. Если же является опасение, что воды в Париже не хватит, как это бывает во время сильной жары, компании очень хорошо знают, что достаточно выпустить предостережение в нескольких строках в газетах, чтобы парижане тотчас же, без всякого закона, сократили своё потребление воды и не тратили её попусту.

Но что сделали бы, если бы воды действительно не хватило? Тогда прибегли бы к распределению её в ограниченных количествах. Это — такая естественная, такая понятная мера, что во время двух осад Парижа в 1871-м году два раза требовали её применения ко всем жизненным припасам. — «Le rationnement!» «Всё по порциям» требовал тогда рабочий Париж.

Стоит ли входить в подробности, описывать, каким образом эта мера могла бы действовать? Доказывать, что она — справедлива, несравненно справедливее всего, что существует теперь? Эти подробности и эти описания всё равно не убедят тех буржуа — и, к несчастью, не только буржуа, но и обуржуазившихся рабочих, — которые смотрят на народ, как на стадо дикарей, готовых тотчас же перегрызться, как только правительство перестанет охранять их своим бдительным оком. Но всякий, кто хоть когда-нибудь видел, как народ решает свои собственные дела, особенно когда над ним не тяготит палка исправника и податного инспектора, ни минуты не усомнится в том, что раз только ему будет вполне предоставлено распределение продуктов, он будет руководиться в этом деле самым простым чувством справедливости.

Попробуйте сказать в каком-нибудь народном собрании, что жареных рябчиков нужно предоставить избалованным бездельникам из аристократии, а чёрный хлеб употребить на прокормление больных в больницах, и вы увидите, что вас освищут. Но скажите в том же самом собрании, проповедуйте на всех перекрёстках, что лучшая пища должна быть предоставлена слабым и прежде всего больным: скажите, что, если бы во всём городе было всего десять рябчиков и один ящик малаги, их следовало бы отнести выздоравливающим больным, скажите это только...

Скажите, что за больными следуют дети. Им пусть пойдёт коровье и козье молоко, если его недостаёт для всех. Пусть ребёнок и старик получают последний кусок мяса, а взрослый здоровый человек удовольствуется сухим хлебом; если уже дело дойдёт до такой крайности.

Скажите, одним словом, что если каких-нибудь припасов не имеется в достаточном количестве, и их приходится распределять, то последние оставшиеся доли должны быть отданы тем, кто в них более всего нуждается; скажите это — и вы увидите, что с вами все согласятся.

То, чего не понимают сытые господа, отлично понимает и всегда понимал народ; но и сами пресыщенные, если они завтра окажутся на улице и придут в соприкосновение с массой, поймут это так же хорошо.

Теоретики, для которых солдатская казарма и солдатский котелок составляют последнее слово науки, потребуют, вероятно, немедленного введения национальной кухни и общей чечевичной похлёбки, ссылаясь на то, сколько топлива и провизии можно выгадать в казарменной кухне, откуда каждый будет получать свою порцию похлёбки и хлеба.

Мы, с своей стороны, не отрицаем этих преимуществ. Мы знаем, как много топлива и труда сберегло человечество, отказавшись сначала от ручной мельницы, а затем и от печи, где каждый пёк свой хлеб. Мы понимаем, что было бы экономнее сварить сразу щи на сто семейств, чем разводить для этого сто отдельных огней. Мы знаем точно так же что, хотя есть множество различных способов приготовления картофеля, картофель всё-таки будет несколько не хуже, если его сварить предварительно в одном котле на все сто семей.

Мы понимаем, наконец, что разнообразие кухни состоит, главным образом, в индивидуальном характере приготовления блюд каждой хозяйкой и что, если вся масса картофеля будет сварена вместе, это несколько не помешает хозяйкам приготовить его затем, каждой по своему вкусу. Точно так же из одного бульона можно приготовить сто различных супов, на сто различных вкусов.

Мы знаем всё это и тем не менее утверждаем, что никто не имеет права заставить хозяйку получать свой картофель варёным, если она предпочитает сварить его в своём котелке, на своём огне, и что лучше сжечь лишние дров, чем заводить казарму, которая противна всякому свободно мыслящему человеку. Главное же мы хотим, чтобы каждый мог съесть свой обед где и как хочет — в своей семье, с приятелями, или же в общей столовой, если ему это лучше нравится.

На место ресторанов, в которых теперь отравляют посетителей всякою дрянью, несомненно возникнут большие кухни. В Париже хозяйки уже и теперь привыкли

покупать бульон у мясников и затем приготавливать из них какой хотят суп; точно так же в Лондоне хозяйка знает, что она может дать зажарить кусок мяса или свой пирог с яблоками или ревенём в булочной, заплатив за это несколько копеек и сберечь таким образом и время, и уголь. А когда общие кухни, которые будут в будущем соответствовать существовавшему в былое время «общественным печам»<sup>[4]</sup>, перестанут быть местом обмана, подделки и отравления посетителей, то выработается и привычка брать из этих кухонь готовыми все существенные части обеда, а затем уже только приготавливать их окончательно по своему вкусу.

Но сделать из этого закон, вменить каждому в обязанность получать пищу в готовом виде, значило бы навязать человеку девятнадцатого века порядки, столь же противные ему, как и порядки казарм и монастырей. Такие мысли родятся только в умах людей, в корне испорченных правом командования над другими или духом религиозного подчинения.

Но кто же будет иметь право пользоваться принадлежащими общине продуктами? Все, или только часть граждан? Этот вопрос возникнет, конечно, на первых же порах. — Пусть только каждый город ответит на это по своему, — и если народ, масса, сам решит этот вопрос, мы убеждены, что его ответы будут внушены чувством справедливости. Пока различные отрасли труда не организованы пока, ещё продолжается период волнений, и нельзя отличить ленивого бездельника от человека не работающего поневоле, — все имеющиеся в наличности продукты должны принадлежать всем без исключения. Те, кто сопротивлялся победе народа с оружием в руках или устраивал против него тайные заговоры, сами поспешат исчезнуть с восставшей территории. Но мы думаем, что народ, — всегда враг мести и всегда великодушный, — будет делиться хлебом со всеми теми, кто будет находиться в его среде — будут ли то экспроприаторы или экспроприированные. Революция от этого ничего не потеряет, а когда работа вновь начнётся, недавние враги встретятся в одних и тех же мастерских. Обществу, где труд будет свободен, нечего будет бояться тунеядцев.

— «Но таким образом все припасы истощатся в течение месяца», слышатся уже нам возражения наших критиков.

«И отлично!» ответим мы. Это только послужит доказательством, что пролетарий, в первый раз в жизни ел досыта. Что же касается способов пополнить израсходованные припасы, то именно этим вопросом мы и займёмся теперь.

## V.

Каким образом, в самом деле, может обеспечить своё продовольствие город, в котором социальная революция находится в полном разгаре?

Мы постараемся ответить на этот вопрос, хотя, очевидно, что средства, к которым нужно будет прибегнуть, будут зависеть от характера, который примет революция в соседних странах. Если бы вся страна, или, ещё лучше, вся Европа, могла произвести социальную революцию одновременно и сразу перейти к коммунизму, то вопрос решился бы таким-то образом. Если же попытка

установления коммунистического строя будет сделана из всей Европы лишь несколькими городами, тогда придётся избрать иные пути. Средства будут зависеть от обстоятельств.

Поэтому, прежде чем идти дальше, бросим общий взгляд на Европу и посмотрим — вовсе не имея в виду пророчествовать — каков может быть, по крайней мере в существенных чертах, ход Революции.

Было бы, конечно, очень желательно, чтобы вся Европа восстала одновременно, чтобы повсюду произошла экспроприация, чтобы повсюду революционеры руководились принципами коммунизма. Такое общее восстание значительно облегчило бы задачу, стоящую перед нашим веком.

Но, по всей вероятности, этого не будет. Что революция охватит всю Европу — в этом мы не сомневаемся. Если какая-нибудь из четырёх главных континентальных столиц — Париж, Вена, Брюссель или Берлин — восстанет и свергнет своё правительство, то можно почти наверное сказать, что через несколько недель то же самое сделают и три остальные. Очень вероятно также, что революция не заставит себя долго ждать и в Италии, и в Испании, и даже в Лондоне и Петербурге. Но будет ли она иметь повсюду один и тот же характер — в этом можно сильно сомневаться.

Более чем вероятно, что повсюду будет происходить экспроприация, в больших или меньших размерах и что то, что совершится в этом направлении в любой из больших европейских стран окажет влияние на все остальные. Но начало революции будет очень различно в различных местностях, точно так же как и её дальнейшее развитие не пойдёт одинаково в различных странах. В 1789–93 годах потребовалось четыре года для того, чтобы французские крестьяне могли окончательно избавиться от выкупа феодальных прав, а буржуазия — свергнуть королевскую власть. Будем помнить это и будем готовы к тому, что социальная революция потребует для своего развития некоторого времени, и что она будет развиваться не везде с одинаковой скоростью.

Что же касается того, примет ли она с самого же начала во всех европейских странах действительно социалистический характер, то в этом тоже можно сомневаться. Вспомним, что Германия находится в самом разгаре периода единой империи, и что её самые передовые партии мечтают ещё об якобинской республике 1848 года и об «организации труда» Луи Блана, тогда как во Франции народ требует по крайней мере свободных, если не коммунистических Коммун.

Что Германия пойдёт в будущей революции дальше, чем пошла Франция в 1848 году, это тоже очень вероятно. Когда в восемнадцатом веке Франция сделала свою буржуазную революцию, она пошла дальше, чем Англия в семнадцатом веке, потому что вместе с королевской властью, она уничтожила и власть поземельной аристократии, которая в Англии и теперь ещё пользуется громаднейшею силою. Но если даже Германия пойдёт несколько дальше, чем пошла Франция в 1848 году, и осуществит больше, чем тогда удалось осуществить во Франции, то в начале революции руководящие идеи всё-таки будут идеями 1848 года, точно так же, как идеи, которые будут руководить русской революцией, будут идеями 1789-го года, видоизменёнными до известной степени умственными течениями века.



Не приписывая, впрочем, этим догадкам большего значения, чем они заслуживают, мы можем тем не менее сделать из них следующий вывод: революция примет в различных европейских странах различный характер, и уровень, которого она достигнет по отношению к социализации продуктов, не будет одинаковым.

Следует ли из этого, что страны более передовые должны приспособляться в своём движении к странам более отсталым, как думают некоторые? Нужно ли ждать, пока идея коммунистической революции созреет у всех народов? Конечно, нет! Да если бы мы даже этого хотели, это было бы невозможно: история не ждёт запоздавших.

С другой стороны, мы не думаем, чтобы даже в одной и той же [стране революция произошла с такой стройностью, о какой] мечтают некоторые немецкие и русские социалисты. Очень вероятно, что если один или два из больших городов Франции — Париж, Лион, Марсель, Лиль, Сент-Этьен или Бордо, — провозгласят Коммуну, то и другие тотчас же последуют их примеру, и то же самое произойдёт ещё в нескольких, менее крупных городах. Некоторые каменноугольные и промышленные центры, точно так же, вероятно, не замедлят отпустить своих хозяев и организовать в свободные группы.

Но по деревням многие местности ещё не дошли до этой ступени развития: рядом с восставшими общинами будут и такие, которые останутся в выжидательном положении и будут продолжать жить при индивидуалистических порядках. Но когда крестьяне увидят, что ни судебный пристав, ни сборщик податей не являются требовать с них налогов, они не будут относиться к революционерам враждебно (как это было при Республике в 1848 году), а напротив того, извлекут всё, что смогут, из нового положения и начнут сводить свои счёты с местными эксплуататорами. Со свойственным всем крестьянским восстаниям практическим смыслом (вспомним только, с каким усердием крестьяне, в 1792 -м году, обрабатывали земли, отнятые ими у помещиков, заграбивших мирские земли), они примутся за обработку земли, своей и отнятой у местных богачей, монастырей, и т. д., которая станет им тем более дорога, что над ней не будет тяготеть никаких налогов и закладных процентов.

Что касается внешних сношений с другими странами, то повсюду в Европе и Америке будет царить революция, но революция в различных видах: в одном месте унитарная, в другом федералистическая и повсюду, более или менее, социалистическая. Единообразия, конечно, не будет и быть не может.

## VI.

Но вернёмся к нашему восставшему городу и посмотрим, при каких условиях придётся ему заботиться о своём продовольствии.

Прежде всего является вопрос, где взять нужные припасы, если вся нация ещё не пришла к коммунистическому строю?

Возьмём какой-нибудь большой французский город, хотя бы столицу Франции. Париж потребляет ежегодно миллионы пудов хлеба, 330.000 быков и коров, 200.000

телят, 300.000 свиней и больше 2.000.000 баранов, не считая другой живности. Кроме того, ему требуется ещё около полумиллиона пудов масла и до двух сот миллионов яиц и всё остальное в соответственных количествах.

Мука, и хлеб привозятся из Франции, из Соединённых Штатов, из России, из Венгрии, из Италии, из Египта, из Индии; скот — из Германии, Италии, Испании, даже из Румынии и из России. Что же касается до бакалейных товаров, то нет страны в мире, которая не присылала бы в Париж свою дань.

Посмотрим прежде всего, каким образом можно будет устроить доставку в Париж или во всякий другой большой город, тех припасов, которые выращиваются в французских деревнях, и которые крестьяне с величайшей охотой пустят в обращение.

Для государственников этот вопрос не представляет никаких затруднений. Они прежде всего ввели бы сильно централизованное правительство, вооружённое всеми принудительными средствами: полицией, армией, гильотиной. Это правительство распорядилось бы составить список всего, что производится во Франции, разделило бы всю страну на известное число продовольственных округов и *повелело бы*, чтобы такой-то продукт, в таком-то количестве, был бы привезён в определённый день в определённое место, на определённую станцию, был принят таким-то чиновником, сложен в такой-то склад и т. д.

Мы же вполне убеждены в том, что такое решение вопроса не только не желательно, но и совершенно неосуществимо, что оно не более как чистая фантазия, — утопия. Можно мечтать о таком порядке вещей, сидя у себя дома, с пером в руках, но на практике он оказывается физически невозможным, так как совершенно забывается живущий в человеке дух независимости. Последствием такого, якобы порядка был бы всеобщий бунт: не только одна Вандея, но целых три или четыре, — война деревень против городов, восстание всей Франции против того города, который осмелился бы навязать ей подобные приказы<sup>[5]</sup>.

Довольно с нас якобинских утопий! Посмотрим, нельзя ли устроиться как-нибудь иначе.

В 1793-м году деревня морила голодом большие города и убила этим революцию. А между тем известно, что урожай хлебов во Франции в 1792–93 годах не был меньше обыкновенного; и есть основания думать (Мишле), что он был даже больше. Но, завладев значительною частью помещичьих земель и собрав с них урожаи, деревенская буржуазия не хотела продавать свой хлеб за ассигнации, которые Революция пустила в обращение, а держала его у себя в ожидании повышения цен или появления золотой монеты. И никакие, самые строгие меры, принимавшиеся Конвентом с целью *заставить* продавать хлеб, никакие казни не могли ничего поделать с этой стачкой крестьян против городов. Между тем комиссары Конвента, как известно, не церемонясь, гильотинировали спекулянтов, а народ вешал их на фонарях; и всё-таки хлеб оставался в деревнях, тогда как городское население голодало.

Но что предлагали в то время крестьянскому населению в вознаграждение за его тяжёлый труд?

Ассигнации! Клочки бумаги, цена на которые падала с каждым днём, на которых стояла цифра в пятьсот ливров, когда они в действительности не стоили и десяти. За билет в тысячу ливров нельзя было купить даже пару сапог, и очень понятно, что крестьянин не хотел отдавать труд целого года за кусок бумаги, который не дал бы ему даже возможности купить новую блузу.

И до тех пор, пока крестьянину будут предлагать не имеющие ценности клочки бумаги — будут ли это ассигнации или «трудовые чеки», — будет повторяться то же самое. Припасы будут оставаться в деревнях, и город их не получит, сколько бы ни гильотинировали и ни топили крестьян.

Крестьянину нужно предлагать не бумаги, а такие предметы, в которых он непосредственно нуждается: веялку и косилку, в которых он теперь отказывает себе, скрепя сердце; одежду, которая защитила бы его от непогоды; лампу и керосин, чтобы заменить его лучину; заступ, грабли, плуг, — одним словом всё то, чего он лишён теперь, не потому, чтобы он не чувствовал потребности в этом, а потому что в его жизни, полной лишений и тяжёлого труда, множество предметов недоступно для него по своей цене.

Пусть город примется тотчас же за производство того, что необходимо крестьянину, вместо того, чтобы выделывать разные безделушки для украшения дамских туалетов. Пусть парижские швейные машины шьют, вместо приданных для кукол, рабочие и праздничные одежды для крестьянина; пусть заводы займутся выделкой земледельческих машин, заступов и грабель, вместо того, чтобы ждать, пока англичане пришлют эти вещи в обмен на французское вино!

Пусть город пошлёт в деревню не комиссара, опоясанного красным или разноцветным шарфом, с приказом везти припасы в такое-то место, а пусть пошлёт туда друзей, братьев, которые скажут крестьянам: «Привозите нам свои продукты и берите из наших складов всё, что хотите». Тогда жизненные припасы будут стекаться в город со всех сторон. Крестьянин оставит себе то, что ему нужно для собственного существования, а остальное отошлёт городским рабочим, в которых он — *в первый раз во всей истории* — увидит не эксплуататоров, а братьев.

Нам скажут, может быть, что это требует полного переустройства общества. Для некоторых отраслей несомненно так. Но есть множество таких отраслей, которые смогут очень быстро приспособиться к тому, чтобы доставлять крестьянину одежду, часы, мебель, утварь и простые машины, за которые теперь город заставляет так дорого платить. Ткачи, портные, сапожники, жестяники, столяры и многие другие могут без всякого затруднения оставить производство предметов забавы и роскоши, ради труда полезного. Нужно только, чтобы люди прониклись мыслью о необходимости такого преобразования, чтобы они смотрели на него, как на дело справедливое и прогрессивное и перестали предаваться любимым мечтаниям теоретиков — о том, что «революция должна ограничиться завладением прибавочною стоимостью, оставив в прежнем виде производство и торговлю».

Именно в этом заключается, по нашему мнению, весь вопрос — в том, чтобы предложить крестьянину в обмен на его продукты не клочки бумаги, — что бы ни было на них написано, — а *самые предметы* потребления, в которых он нуждается.

Если это будет сделано, жизненные припасы будут отовсюду стекаться в города. Если этого не будет — мы будем иметь в городах голод со всеми его последствиями: реакцией и подавлением революционного движения.

## VII.

Мы уже видели, что все большие города получают хлеб, муку, мясо, не только из провинции, но и из-за границы. В Париж из-за границы присылаются бакалейные товары, пряности, рыба, различные продукты, составляющие предмет роскоши, и значительное количество хлеба и мяса.

Но во время Революции на заграничный ввоз нельзя будет рассчитывать, или, по крайней мере, придётся полагаться как можно меньше. Если теперь русский хлеб, итальянский или индийский рис, а также испанские и венгерские вина наполняют западно-европейские рынки, то это происходит не от того, что в странах, вывозящих их, этих продуктов слишком много, или что они растут там сами без труда, как сорная трава в поле. В России, например, крестьянин работает по шестнадцати часов в сутки и голодает от трёх до шести месяцев в году, чтобы продать свой хлеб на вывоз и заплатить подати помещику и государству. Как только хлеб собран, полиция уже является в русские сёла и продаёт у крестьянина последнюю корову, последнюю лошадь, в уплату недоимок и выкупных платежей — если только крестьянин сам уже не продал своего урожая скупщику, на вывоз за границу. Таким образом, крестьянин оставляет себе хлеба на девять, на шесть месяцев, а остальное продаёт, чтобы его корову не продали чиновники за три рубля. А затем, чтобы прожить до нового урожая — в течение трёх месяцев в хороший год и полгода в плохой год — он примешивает лебеду в свой хлеб, в то время как в Лондоне лакомятся бисквитами из его муки. Теперь хорошо известно из самих казённых статистик, что если бы из Европейской России не вывозили ни одного пуда ржи и пшеницы, то их было бы ровно столько, сколько нужно на прокормление населения.

Но как только произойдёт революция в России, русский крестьянин оставит свой хлеб для себя и для своих детей. Итальянские и венгерские крестьяне сделают то же самое, и будем надеяться, что этому примеру последуют и индусы. Даже в Америке производство пшеницы сократится, если только и там начнётся рабочее движение. Следовательно, на привоз хлеба и кукурузы из-за границы плохой будет расчёт.

Вся наша буржуазная цивилизация основана на эксплуатации низших рас и стран с отсталою промышленностью, и первым благодеянием революции будет то, что она позволит освободиться этим, так называемым, низшим расам, от их якобы цивилизованных благодетелей. Но это освобождение будет иметь последствием значительное уменьшение притока жизненных припасов в большие западно-европейские города.

Относительно внутренних дел предсказать что-нибудь оказывается труднее.

С одной стороны крестьянин несомненно воспользуется революцией, чтобы распрямить свою спину, согнутую над землёю. Вместо того, чтобы работать по четырнадцати и шестнадцать часов, как теперь, он совершенно справедливо захочет отдыхать половину этого времени, что может повести к уменьшению производства главных жизненных продуктов — хлеба и мяса.

Но с другой стороны, производство, наоборот, усилится от того, что крестьянину не придётся больше работать на тунеядцев. Будут расчищены новые земли, будут пущены в ход новые, более совершенные машины. — «Никогда ещё земля не была так хорошо вспахана, как в 1792 году, когда крестьянин получил ту землю, которой так давно желал», говорит Мишле в своей истории Великой Революции.

Через очень короткий промежуток времени, когда усовершенствованные машины и химическое и всякое другое удобрение станут доступны общинам, каждый крестьянин сможет вести усовершенствованную, усиленную, интенсивную культуру. Но в начале есть основание думать, что, как во Франции, так и в других странах, произойдёт уменьшение количества земледельческих продуктов.

Благоразумнее поэтому предполагать, что привоз продуктов, как из местностей внутри страны, так и из-за границы, в общем уменьшится.

Как же пополнить этот недостаток?

Очень просто: заменить недостающее собственными силами. Нечего искать в тумане разрешения вопроса, когда оно так просто.

Большие города должны заняться обработкой земли, подобно деревням. Нужно вернуться к тому, что называется в биологии «интеграцией функций»). После того, как установлено разделение труда, приходится «интегрировать» соединять; таков ход вещей во всей природе.

Впрочем, помимо всякой философии, самое течение событий несомненно приведёт к этому. Если только Париж узнает, что через несколько месяцев он должен остаться без хлеба, он займётся обработкой земли.

Но откуда взять землю? — В земле недостатка не будет. Большие города, а Париж в особенности — окружены парками богатых собственников, миллионами десятин, которые только и ждут того, чтобы разумный труд земледельца превратил их в плодородные поля, гораздо более плодородные, чем южно-русские степи, покрытые чернозёмом, но выжженные солнцем.

Рабочие руки? Но чем же будут заниматься два миллиона парижан, когда им не нужно будет больше наряжать и занимать русских князей, румынских бояр и жён берлинских финансистов?

Благодаря созданным нашим веком машинам, благодаря уму и техническим знаниям рабочих, опытных в деле пользования усовершенствованными орудиями, имея к своим услугам изобретателей, химиков, ботаников, профессоров в Jardin des Plantes и огородников из Gennevilliers<sup>[6]</sup>, пользуясь всеми средствами для

увеличения числа существующих машин и испробования новых; наконец, благодаря организаторскому духу, энергии и предприимчивости парижского населения — земледельческий труд парижской анархической коммуны будет совершенно иной, чем работа современных крестьян где-нибудь в Арденнах.

Пар, электричество, солнечная теплота и сила ветра очень скоро будут пущены в дело. Паровые плуги, машины для очистки земли от камней быстро выполнят всю подготовительную работу, и земля, размягчённая и удобренная, будет только ждать разумного труда человека — особенно женщины — чтобы покрыться тщательно выращенными растениями, которых будут снимать по три и по четыре жатвы в год.

Учась садоводству, под руководством опытных специалистов, имея возможность пробовать на специально отведённых местах всевозможные способы обработки, соперничая между собою для достижения наилучших результатов и при этом черпая в физическом труде — не в непосильном и чрезмерном труде — те силы, которых так часто не хватает жителям больших городов, мужчины, женщины и дети с радостью займутся полевыми работами, которые перестанут быть каторжным трудом и превратятся в удовольствие, в праздник, в обновление человеческого существа.

«Бесплодных земель нет! Чего стоит человек, того стоит земля!» — таково последнее слово современного земледелия. Земля даёт всё, чего от неё потребуют; нужно только требовать умеючи.

На практике, даже такой небольшой территории, как два округа — Сены и Сены с Уазой — было бы достаточно для того, чтобы пополнить недостачи, вызванные революцией, даже в таком большом городе, как Париж.

Коммунистическая община, если она решительно станет на путь экспроприации, несомненно приведёт нас к этому соединению земледелия с промышленностью, — к тому, что человек будет заниматься и тем и другим одновременно.

Пусть только она вступит на этот путь: с голоду она уже наверное не погибнет! Опасность лежит вовсе не в этом: она лежит в умственной трусости, в предрассудках, в полумерах.

Опасность там, где её видел Дантон, когда говорил Франции: «Смелости, смелости, больше смелости!» — особенно смелости умственной, за которой не замедлит последовать и смелость воли.

Всякий, кто внимательно присматривался к настроению умов у рабочих, несомненно заметил, что есть один важный вопрос, по которому во Франции мало-помалу устанавливается общее соглашение. Это — вопрос о жилых домах. В больших французских городах (и даже во многих маленьких) рабочие приходят понемногу к убеждению, что жилые дома, в действительности, нисколько не составляют собственности тех, кого государство признает их собственниками, а на деле должны бы принадлежать всем жителям города. Такой поворот в умах несомненно совершается, так что уверить народ в справедливости права собственности на жилые дома теперь уже трудно.

Не собственник строил дом; его строили, украшали и отделывали сотни рабочих, которых голод толкал на работу, а необходимость существовать заставляла довольствоваться жалким заработком.

Деньги, затраченные этим, якобы, собственником, точно так же не были продуктом его труда. Он накопил их так, как накапливается всякое богатство, т.-е. уплачивая рабочим всего две трети или даже половину того, что ими сработано.

Наконец — и здесь нелепость права собственника всего очевиднее — ценность дома зависит от дохода, который получит с него хозяин дома; доход же зависит от того, что данный дом выстроен в городе с мощёными улицами, освещённом газом, имеющем правильные сообщения с другими городами; что в этом городе находятся промышленные заведения, и существуют учреждения, служащие науке и искусству; что в нём есть мосты, набережные, конки, есть театры, музеи, гулянья, одним словом, зависит от того, что двадцать или тридцать поколений работали над тем, чтобы сделать этот город обитаемым, здоровым и красивым центром промышленной и умственной жизни.

В некоторых кварталах Парижа каждый дом стоит миллион или более рублей, не потому, чтобы в его стенах заключалось на миллион работы, а потому, что он находится именно в Париже, что в течение целых веков поколения рабочих, артистов, мыслителей, учёных и литераторов содействовали тому, чтобы сделать Париж тем, что он представляет теперь, т.-е. промышленным, торговым, политическим, артистическим и научным центром; потому что у этого города есть прошлое, что его улицы известны, благодаря литературе, как в провинции, так и за границей, что он — продукт труда восемнадцати веков, пятидесяти поколений всей французской нации. То же самое справедливо относительно всякой другой столицы.

Кто же имеет право, в таком случае, присвоить себе хотя бы малейший клочок этой земли, или самую ничтожную из этих построек, не совершая тем самым вопиющей несправедливости? Кто имеет право продавать кому бы то ни было хотя бы малейшую долю этого общего наследия?

Как мы уже говорили, среди рабочих в этом отношении устанавливается мало-

помалу соглашение, и идея дарового жилища обнаружилась уже во время первой осады Парижа (немцами в 1871-м году), когда население требовало, чтобы с него было прямо сложены все долги хозяевам квартир. Та же мысль проявилась и во время Коммуны 1871 года, когда рабочие ждали от Совета Коммуны решительных мер с целью упразднения квартирной платы. И когда снова вспыхнет революция, та же самая мысль будет первой заботой бедняка.

В революционное ли, в мирное ли время — рабочему всегда нужен кров, нужно жилище. Но как бы плохо и как бы нездорово это жилище ни было, всегда есть хозяин, который может его оттуда выгнать. Правда, во время революции в распоряжении хозяина не будет судебного пристава, не будет полицейских, которые выбросят ваш скарб на улицу. Но кто знает, — не захочет ли завтра новое правительство — каким бы революционным оно себя ни заявляло— вновь восстановить эту силу и вновь отдать её в распоряжение домохозяина? Правда, Коммуна объявила уничтожение всех долгов за квартиры по 1-ое апреля — но только по 1-ое апреля!<sup>[7]</sup> А затем, опять-таки пришлось бы платить, несмотря на то, что в Париже всё было перевёрнуто вверх дном, что промышленность приостановилась, и у революционера не было ничего, кроме тридцати су (пятидесяти копеек) в день, выплачиваемых ему Коммуной!

А между тем нужно, чтобы рабочий знал, что если он не платит за квартиру, то не только из попущения. Нужно, чтобы он знал, что даровое жилище признано за ним, как право, — что оно установлено общим согласием, как право, открыто провозглашённое народом.

Неужели же мы будем ожидать, чтобы эта мера, всецело отвечающая чувству справедливости всякого честного человека, была принята теми социалистами, которые войдут вместе с буржуа в новое временное правительство? Долго прождали бы мы таким образом — до самого возврата реакции!

Вот почему искренние революционеры, которые откажутся от всяких официальных шарфов и фуражек с галунами, от всяких знаков власти и подчинения — и останутся среди народа, как часть его, будут вместе с народом работать для того, чтобы экспроприация домов стала совершившимся фактом. Они постараются создать движение в этом направлении и применить эту меру на практике; т.-е., когда эти мысли созреют, народ произведёт экспроприацию домов, наперекор всем теориям вознаграждения собственников и тому подобной чепухе, которою всякие охотники до теорий постараются затормозить дело.

В тот день, когда экспроприация домов совершится — рабочий поймёт, что действительно настали новые времена, что ему уже не придётся склонять голову перед богатыми и сильными, что Равенство открыто провозглашено, что Революция совершается на деле, а не остаётся простою переменою государственных театральных декораций, как это не раз бывало раньше.

## II.

Если только мысль о необходимости отобрать дома созреет в народе, её



осуществление на практике вовсе не встретит тех непреодолимых препятствий, которыми нас обыкновенно пугают.

Правда, люди, которые наряжаются в мундиры и займут вакантные места в министерствах и в Городской Думе, постараются увеличить число таких препятствий. Они начнут толковать о вознаграждении собственников, о необходимости точнейших статистических сведений и начнут составлять длинейшие доклады — такие длинные, что дело могло бы протянуться до того времени, пока подавленный нуждою и безработицею народ, не видя ничего впереди и потеряв всякую веру в революцию, не предоставит полной свободы действия реакционерам.

Об этот подводный камень, действительно, может разбиться вся живая сила. Но если народ не поддастся на этого рода увещания, если он поймёт, что новый строй жизни требует новых средств, и возьмёт дело в свои руки — тогда экспроприация сможет осуществиться без особых затруднений.

«Но как именно? Каким образом можно её осуществить?» спросят у нас. — Мы сейчас поговорим об этом, но с одной предварительной оговоркой. Мы не хотим рисовать планов экспроприации в их мельчайших подробностях; мы знаем заранее, что жизнь опередит всё, что могут предложить в настоящее время личности или группы. Она, как мы уже говорили, сделает дело лучше и проще, чем все наши заранее прописанные программы.

Поэтому, когда мы намечаем способ, которым *можно было бы* осуществить экспроприацию без государственного вмешательства, мы хотим только ответить тем, кто заранее объявляет это невозможным. Но мы предупреждаем, что ни в каком случае не имеем в виду проповедовать тот или другой способ организации дела как наилучший. Всё, чего мы хотим, это — показать, что экспроприация *может* быть делом народной инициативы и *не может* быть ничем другим.

По всей вероятности, с самых первых шагов народной экспроприации создадутся в каждом квартале, в каждой улице, в каждой группе домов, группы добровольцев, которые предложат свои услуги для собирания нужных справок о числе свободных квартир, о таких квартирах, в которых теснятся большие семьи, о квартирах нездоровых и квартирах слишком просторных для живущих в них, а следовательно могущих быть занятыми теми, кто теснится в лачугах. В несколько дней эти добровольцы составят для данной улицы или для данного квартала полные списки этих квартир, здоровых и нездоровых, тесных и просторных, жилищ, которые служат источниками зараз и жилищ роскошных.

Они сообщат друг другу эти списки и через короткий промежуток времени составятся таким образом полные статистические таблицы. Ложные статистические сведения можно сочинять, сидя в канцелярии, но статистика правдивая и полная может быть только делом каждой отдельной личности; и в этом нужно, следовательно опять-таки идти от простого к сложному.

Ничего ниоткуда не ожидая, эти граждане отправятся, вероятно, к товарищам, живущим по трущобам, и скажут им: «Ну, на этот раз, товарищи, — настоящая революция. Приходите сегодня вечером в такое-то место. Там будет весь квартал:

будут делить квартиры. Если вы не хотите оставаться в своей лачуге, вы выберете себе одну из квартир в четыре или пять комнат, которые окажутся свободными. А когда вы переедете, это будет дело конченное и тот, кто вздумает вас оттуда выгонять, будет иметь дело с вооружённым народом!».

— «Но, в таком случае, каждый захочет иметь квартиру в двадцать комнат!» — скажут нам.

Вовсе нет! Хотя бы уже по той простой причине, что малой семье большая квартира не с руки. Чистить и топить двадцать комнат можно только, когда есть куча рабов. Но — помимо того — народ никогда не требовал невозможного. Напротив, всякий раз, когда мы видим, что делается попытка восстановить справедливость между людьми, нам приходится удивляться здравому смыслу и чувству справедливости народной массы. Слышали ли мы когда-нибудь во время революции неисполнимые требования народа? Случалось ли когда-нибудь, чтобы в Париже, во время выдержанных им осад, люди дрались из-за своей порции хлеба или дров? Наоборот они ждали своей очереди с терпением, которому не могли надивиться корреспонденты иностранных газет, а между тем все знали, что тот, кто придёт последним, не получит в этот день ни хлеба, ни топлива.

Конечно, в отдельных личностях, в нашем обществе живёт предостаточное количество себялюбивых наклонностей, и мы это отлично знаем. Но мы знаем точно так же и то, что поручить квартирный вопрос какой-нибудь канцелярии было бы лучшим средством пробудить и усилить эту жадность. Тогда, действительно, все дурные страсти получили бы полный простор; все стали бы бороться за то, кому выпадет в канцелярии наибольшая доля влияния. Малейшее неравенство вызвало бы крики негодования, малейшее преимущество, отданное одному перед другим, заставило бы — и не без основания — кричать о взятках.

Но если сам народ возьмётся, сгруппировавшись по улицам, по кварталам, по округам, за переселение обитателей трущоб в слишком просторные квартиры богатых людей, мелкие неудобства или незначительные неравенства будут приниматься очень легко. К хорошим инстинктам масс обращались очень редко. Это случалось, впрочем, иногда, во время революций — когда нужно спасать тонущий корабль — и никогда ещё тот призыв не оставался тщетным: рабочий всегда отзывался на него с самоотвержением.

То же произойдёт и в будущей революции.

Несмотря на всё это, будут однако, по всей вероятности и некоторые проявления несправедливости, и избежать их невозможно. В нашем обществе есть такие люди, которых великое событие не может вывести из их эгоистической колеи. Но вопрос не в том, будут ли случаи несправедливости или нет: вопрос в том, — как уменьшить по возможности их число?

И вот на этот-то вопрос вся история, весь опыт человечества, точно также, как и вся психология общества, отвечают, что наилучшее средство, — это поручить дело самим заинтересованным лицам. Только они одни могут принять во внимание и устроить тысячи различных подробностей, неизбежно ускользающих от какой бы то ни было бюрократической регламентации. Все мы знаем, как сельские общины

делят землю между тяглами. Несправедливости бывают; но что было бы, если бы этот делёж предоставлен был чиновникам? — Он просто стал бы невозможен.

### III.

К тому же речь идёт вовсе не о том, чтобы квартиры были распределены совершенно поровну. Но те мелкие неудобства, которые ещё придётся терпеть некоторым семьям, будут легко устранимы в обществе, где происходит экспроприация.

Раз только каменщики, каменотёсы и другие рабочие строительного дела будут знать, что их существование обеспечено, они с удовольствием согласятся приняться за привычную для них работу. Они переделают большие квартиры, для которых требовалась целая армия прислуги и в несколько месяцев воздвигнут дома, гораздо более здоровые чем те, которые существуют теперь. Тем же, которые устроятся не вполне удобно, анархическая община сможет сказать: «Потерпите, товарищи! Здоровые, удобные и красивые дворцы, превосходящие всё, что строили когда-нибудь капиталисты, будут скоро воздвигнуты на земле нашего свободного народа. Они будут в распоряжении тех, кто в них наиболее нуждается. Анархическая община строит не с целью получать доход; здания, которые она воздвигает для своих граждан и которые составляют продукт коллективного духа, послужат образцом всему человечеству, — и они будут принадлежать вам!»

Если восставший народ экспроприрует дома и провозгласит принцип дарового жилища, общую собственность на жилые помещения и право каждой семьи на здоровую квартиру, это будет значить, что революция, приняла с самого начала коммунистический характер и вступила на такой путь, с которого её свести будет не легко. Частной собственности будет нанесён навсегда смертельный удар.

Экспроприация домов заключает, таким образом, в зародыше всю социальную революцию. От того, как она произойдёт, будет зависеть дальнейший характер событий. Или мы откроем широкий путь анархическому коммунизму, или мы застрянем ещё на полвека в государственном индивидуализме.

Легко предвидеть многочисленные возражения, которые нам станут делать одни теоретического характера, другие — чисто практические.

Так как все эти возражения будут клониться к поддержанию, во что бы то ни стало, несправедливого порядка вещей, то нам, конечно, будут возражать во имя справедливости. «Не возмутительно ли, скажут нам, что парижане захватят все хорошие дома, а крестьянам предоставят одни лачуги?» Но не будем смущаться этим: эти ярые сторонники крайней справедливости забывают, благодаря особенному, свойственному им, способу рассуждения, о той вопиющей несправедливости, защитниками которой они являются. Они забывают, что и в самом Париже рабочий, со своей семьёй, задыхается в трущобе, из окна которой ему виден дворец богача. Они забывают, что в слишком густо населённых кварталах целые поколения гибнут от недостатка воздуха и солнца, и что устранение этой несправедливости должно быть первою обязанностью Революции.

Но не будем останавливаться на этих не бескорыстных возражениях. Мы знаем, что то неравенство, которое ещё будет продолжать существовать между Парижем и деревней, — неравенство такого рода, что оно будет с каждым днём уменьшаться. Как только крестьянин перестанет быть вьючным животным фермера, фабриканта, ростовщика и Государства, деревня точно также не замедлит устроить себе более здоровые помещения, чем существующие теперь. Неужели же, для избежания временной и поправимой несправедливости мы удержим несправедливость целых веков?

Не более сильны и так называемые практические возражения.

«Вот, например», говорят нам, «какой-нибудь бедняк, которому удалось, ценою ряда лишений приобрести дом, достаточно просторный для него и для его семьи. Он вполне счастлив в нём; неужели же вы выгоните его на улицу?»

— Конечно, нет! Если его дома хватает только для помещения его семьи, пусть себе и живёт в нём на здоровье; пусть копается в своём садике! В случае надобности наши же молодцы помогут ему. Но если в его доме есть квартира, которую он сдаёт какому-нибудь жильцу, то народ скажет этому жильцу: «Вы знаете, товарищ, что вы больше ничего не должны вашему старику? Живите в своей квартире и не платите больше ничего: теперь нечего бояться, что полиция вышвырнет вас на улицу; теперь — социальная революция!»

И если хозяин дома занимает один двадцать комнат, а в том же квартале есть мать с пятью детьми, живущая в одной комнате, то народ пойдёт и посмотрит, не найдёт ли среди этих двадцати комнат несколько таких, из которых, после некоторых переделок, могла бы выйти порядочная квартирка для этой матери. Разве это не будет справедливее, чем оставить её в её трущобе, а откормленного богача — в его дворце? Этот последний скоро, впрочем, привыкнет к своему новому положению, а его жена будет даже очень рада избавиться от половины своей квартиры, когда у неё не будет больше пяти-шести служанок.

— «Но ведь это будет полный хаос!» кричат защитники порядка. «Это значит переезды без конца! Уж лучше прямо выгнать всех на улицу и затем брать квартиры по жребью!» Мы уверены, однако, что если в это дело не вмешается никакое правительство, а всё будет предоставлено группам, свободно образовавшимся с этою целью, то число переездов с квартиры на квартиру будет меньше, чем число людей, которые теперь переезжают в течение одного года вследствие жадности собственников домов.

Во-первых, во всех больших городах есть столько свободных квартир, что их, может быть, хватило бы для помещения всех обитателей трущоб. Что касается дворцов и роскошных квартир, то многие рабочие семьи даже вовсе не захотят их, потому, что ими можно пользоваться только тогда, когда для их уборки существует многочисленная прислуга. Их обладателям скоро пришлось бы, поэтому, искать себе менее роскошных помещений, в которых разные банкирши сами готовили бы себе кушанье. Мало-помалу, таким образом, население разместится в существующих квартирах, совершенно мирно и по возможности без лишних неприятностей, — причём не будет никакой надобности переселять банкира, под конвоем, на чердак,

обитателя чердака — во дворец банкира. Разве крестьянские общины не распределяют свои поля с таким незначительным беспокойством для владельцев отдельных делянок, что остаётся только удивляться здравому смыслу и разумности употребляемых для этого приёмов? Русская община — как доказывают целые томы исследований — производит меньше перемещений с одного участка земли на другой, чем частная собственность с её судебными разбирательствами. Отчего же жители большого города должны непременно оказаться глупее или неспособнее к организации, чем русские или индийские крестьяне!

Всякая революция, впрочем, неизбежно предполагает некоторое нарушение хода ежедневной жизни, и если кто-нибудь надеется пережить крупный общественный кризис, ни разу не нарушив своего обеда, то ему, конечно, грозит разочарование. Можно изменить форму правления так, чтобы буржуа ни разу не пропустил час своего обеда, но так не исправишь векового преступления общества по отношению к его кормильцам.

Что известное беспокойство будет, это — несомненно; нужно только, чтобы оно не было напрасным и чтобы оно было доведено до возможного минимума. И опять-таки — напомним об этом ещё раз — для того, чтобы сумма неудобств оказалась наименьшей, нужно обратиться не ко всяким канцеляриям, а к самым заинтересованным лицам.

Когда народу приходится подавать голоса за всяких пройдох, добивающихся чести быть его представителями и претендующих на то, что они всё знают, всё сделают и всё устроят, он, конечно, делает ошибку за ошибкою. Но когда ему приходится организовывать то, что он знает и что его непосредственно касается, он исполняет это лучше всяких чиновников. Разве мы не видели этого во время парижской Коммуны, или во время недавней лондонской стачки в гавани? И не видим ли мы того же самого ежедневно в каждой крестьянской общине?

## Одежда.

Если дома станут общею собственностью города, а в пользование пищевыми продуктами будет введено распределение, то придётся сделать и ещё один шаг вперёд. Неизбежно явится вопрос об одежде и опять-таки единственный способ разрешить его, это — завладеть, от имени народа, всеми магазинами одежды, открыть настежь их двери, предоставить каждому брать всё, что ему нужно. Общая собственность на одежду, право для каждого брать из магазинов или из мастерских то, в чём он нуждается, станет неизбежным последствием приложения коммунистического принципа к домам и съестным припасам.

Само собою разумеется, что для этого нам не будет надобности отбирать у всех граждан их пальто, а затем складывать их в кучу и тянуть жребий — как уверяют наши остроумные и изобретательные критики. Пусть у каждого остаётся его пальто — если оно у него есть, и очень вероятно, что если даже у него их окажется десять, никто не подумает отнять их у него. Каждый предпочтёт новую одежду той, которую буржуа уже обносил, и новой одежды окажется столько, что не будет надобности прибегать к покошённому платью.

Если бы мы собрали сведения о количестве одежды, сложенной в магазинах больших городов, то мы, вероятно, увидели бы, что в Париже, Лионе, Бордо и Марселе её находится достаточно для того, чтобы Коммуна могла доставить нужную одежду каждому из своих граждан и гражданок. Но если бы готового платья не хватило, или если бы часть граждан не нашла подходящего для себя платья, общинные мастерские быстро пополнили бы этот пробел. Мы знаем, в самом деле, с какою невероятною скоростью работают теперь мастерские, снабжённые усовершенствованными машинами и организованные для производства в больших размерах.

— «Но тогда все захотят иметь соболью шубу, и каждая женщина потребует бархатного платья!» воскликнут, конечно, наши противники.

Искренно говоря, мы этого не думаем. Не всякий любит бархат, и не всякий мечтает о собольей шубе. Даже если бы мы теперь предложили каждой из парижанок выбрать себе платье, то наверное нашлось бы много таких, которые предпочли бы простую одежду всем необыкновенным украшениям молодых барынь.

Притом же вкусы меняются соответственно данной минуте и несомненно, что в момент революции господствовать будут вкусы простые. Общество, как и отдельные личности, переживает времена полного упадка нравов, но у него бывают также и минуты героизма. Как бы низко оно ни падало в такие времена, когда оно погрязает, как теперь, в преследовании мелких и ограниченных личных интересов, — в великие эпохи оно меняет свою физиономию. У него бывают минуты благородства, минуты увлечения. Искренние люди приобретают тогда влияние, которое теперь принадлежит плутам и ловким дельцам. Совершаются акты самоотвержения, великие примеры находят себе подражателей, даже эгоистам совестно становится оставаться позади других и они волею-неволею присоединяются к общему хору

людей великодушных и смелых.

Великая революция 1793 года изобилует примерами этого рода. В такие-то именно кризисы нравственного возрождения — настолько же естественные для общества, как и отдельных личностей — и обнаруживаются те высокие порывы, которые двигают человечество вперед на пути прогресса.

Мы вовсе не хотим преувеличивать вероятную роль прекрасных чувств и не на них мы основываем наш общественный идеал. Но нисколько не будет преувеличением, если мы скажем, что подъём этих чувств поможет нам пережить первые, наиболее трудные, моменты. Мы не можем рассчитывать на продолжительность таких порывов самоотвержения в ежедневной жизни, но мы можем ожидать их в начале, а это — всё, что нужно. Именно в ту минуту, когда придётся расчищать почву от навоза, накопленного веками рабства и угнетения, именно тогда анархическому обществу и понадобится этот подъём братских чувств. Впоследствии оно сможет существовать и не обращаясь ни к чьему самопожертвованию, потому что оно уже успеет уничтожить угнетение и создать новое общество, дающее простор всем чувствам солидарности, а экономически — направленное на удовлетворение потребностей всех.

Кроме того, если революция примет именно то направление, о котором мы говорим, свободный личный почин поможет нам избежать всяких помех со стороны эгоистов. На каждой улице, в каждом квартале, смогут организоваться группы, которые возьмут на себя заботу об одежде. Они составят инвентарь всего, имеющегося в восставшем городе и будут приблизительно знать, какими ресурсами он в этом отношении располагает. И очень вероятно, что граждане примут относительно одежды то же правило, как и относительно пищевых продуктов: «право свободно брать всё, что находится в изобилии, и распределение того, что имеется лишь в ограниченном количестве».

Не имея возможности доставить каждому гражданину соболью шубу и каждой гражданке — бархатное платье, общество установит, вероятно, различие между излишним и необходимым, и зачислит — по крайней мере временно — бархатные платья и соболий мех в число предметов излишних, откладывая на будущее вопрос о том, нельзя ли сделать предметом всеобщего потребления то, что теперь составляет предмет роскоши. Обеспечив каждому из жителей анархического города необходимое, можно будет затем предоставить деятельности частных лиц заботу о том, чтобы дать слабым и больным то, что временно будет считаться предметом роскоши, доставить менее крепким то, что не может быть предметом ежедневного употребления всех<sup>[8]</sup>.

«Но ведь это значит подвести всех под один уровень, надеть на всех серую монашескую одежду!» скажут нам. «Это исчезновение всех предметов роскоши, всего, что только украшает жизнь!».

— Вотсе нет! Мы покажем ниже, опять-таки основываясь на том, что существует теперь, что анархическое общество сможет удовлетворить все артистические вкусы своих граждан, не наделяя их для этого миллионными состояниями.

# Пути и средства.

## I.

Если только какое-нибудь общество, город или область твёрдо решится обеспечить своим членам всё необходимое (а мы увидим ниже, как понятие об этом необходимом может расширяться до роскоши), ему неизбежно придётся завладеть всем, что служит для производства, т.-е. землёю, машинами, заводами, средствами передвижения и т. д. Оно непременно экспроприрует современных собственников капитала, чтобы передать этот капитал в руки общества.

В самом деле, главное зло буржуазного строя заключается не только в том, что капиталист получает с каждого промышленного или коммерческого предприятия значительную часть барышей, доставляющих ему возможность жить не работая: оно лежит, как мы уже видели, в том, что всё производство, взятое в целом, идёт по совершенно ложному пути, так как его цель — отнюдь не обеспечение благосостояния для всех. Оно ведётся наудачу, — ради барышей, а вовсе не ради общественных нужд.

Мало того: капиталистическое производство и не может быть в интересах всех. Стремиться к этому, значить требовать от капиталиста, чтобы он вышел из своей роли и исполнял такое отправление в обществе, которого он *не может* принять на себя не переставши быть самим собою, т.-е. частным предпринимателем стремящимся к собственному обогащению. Капиталистическая организация, основанная на личном интересе каждого предпринимателя дала обществу всё, чего от неё можно было ожидать; она увеличила производительную силу рабочего. Воспользовавшись переворотом, произведённым в технике паром, быстрым развитием химии и механики, а также всеми открытиями нашего века, капиталист постарался в своих собственных интересах развить производительность человеческого труда; и достиг он этого в очень значительной степени. Но было бы вполне неразумно возлагать на него какую-нибудь другую миссию. Желать, например, чтобы он употребил эту увеличенную производительность труда на пользу всего общества, значило бы требовать от него благотворительности, а капиталистическое предприятие не может быть основано на благотворительности.

Дать полное распространение, во всех отраслях, этой высокой производительности труда, существующей в настоящее время лишь в некоторых отраслях промышленности, — теперь уже дело общества. А для того, чтобы общество могло обеспечить благосостояние всем своим членам, оно, очевидно, должно завладеть всеми средствами производства.

Политико-экономы ответят нам, может быть, (как они часто это делают), указывая на сравнительное благосостояние некоторых категорий рабочих — молодых, сильных и обладающих специальными знаниями, в известных отраслях промышленности. Нам всегда с гордостью указывают на это меньшинство. Но может ли даже это благосостояние — привилегия немногих, — считаться за ними обеспеченным? Завтра, благодаря беспечности, непредусмотрительности или



корыстолюбиею хозяина, эти привилегированные рабочие будут, может быть, выброшены на улицу и заплатят целыми месяцами и годами нужды и лишений за то временное довольство, которым они пользовались раньше. Сколько раз мы видели, что даже крупные отрасли промышленности (производство тканей, железа, сахара и проч.), не говоря уже о производствах более эфемерных отраслей, одна за другою приостанавливались и медленно владели своё существование, то вследствие различных спекуляций, то вследствие естественных перемещений труда, то благодаря создаваемой самими же капиталистами конкуренции. Все главные отрасли выделки тканей и механики пережили недавно (в 1886–1889 году) такой кризис; что же сказать, в таком случае, о тех производствах, для которых периодическая приостановка работ является вообще необходимостью?

А что сказать о цене, какую покупается это сравнительное благосостояние некоторых категорий рабочих? Ведь оно достигается благодаря разорению земледелия, бессовестной эксплуатации крестьянина и бедности народных масс. Рядом с этим незначительным меньшинством, пользующимся некоторым довольством, сколько человеческих существ живёт изо дня в день без обеспеченного заработка, готовые направиться всюду, где только в них окажется надобность! Сколько крестьян работает по четырнадцать часов в день из-за самого скудного пропитания! Капитал вызывает обезлюдение деревень, разоряет колонии и страны с мало развитою промышленностью, осуждает громадное большинство рабочих на отсутствие всякого технического образования, на невозможность получить даже плохенькое знание своего ремесла. Цветущее состояние одной отрасли промышленности постоянно покупается разорением десяти других.

И это не случайность: это — *необходимое условие капиталистического строя*. Чтобы некоторые разряды рабочих могли получать в настоящее время порядочное жалованье, *нужно*, чтобы крестьянин был как бы вьючным животным общества; *нужно*, чтобы население деревни оставляло её и уходило в города; *нужно*, чтобы мелкие ремёсла скоплялись в бедных предместьях больших городов и выделявали там за ничто множество предметов, за которые покупатель, получающий скудную заработную плату, и не может платить больше. Для того, чтобы плохое сукно находило себе сбыт у скудно оплачиваемых рабочих, портной должен довольствоваться заработком, едва дающим ему возможность не умереть с голоду. Нужно, точно так же, чтобы отсталые восточные страны эксплуатировались западными, негры — европейцами, итальянские землекопы — англичанами и т. д., чтобы в некоторых привилегированных отраслях промышленности рабочий мог пользоваться, при капиталистическом строе, некоторым, хотя бы ограниченным, благосостоянием.

Зло современного строя заключается, следовательно, не в том, что «прибавочная стоимость» производства идёт капиталисту, как говорили Родбертус и Маркс, вслед за Томсоном, — суживая таким образом социалистическую идею и её общее понимание капиталистического строя. Сама прибавочная стоимость является следствием более глубоких причин. Зло заключается в том, что вообще может быть какая бы то ни было «прибавочная стоимость», вместо простого излишка, не потреблённого данным поколением, потому что для существования этой «прибавочной стоимости» нужно, чтобы мужчины, женщины и дети были

вынуждены потреблять меньше, чем они производят; чтобы голод и невозможность найти другое приложение своих сил вынуждали их продавать свою рабочую силу за малую долю того, что она производит, и особенно того, что она может произвести.

И это зло будет существовать до тех пор, пока всё, что необходимо для производства, останется собственностью немногих. Пока человек будет вынужден платить дань собственнику, чтобы иметь право обрабатывать землю или пустить в ход какую-нибудь машину, а собственник сможет производить не наибольшее количество нужных для существования предметов, а то, что обещает ему наибольшие барыши, — до тех пор благосостояние будет обеспечено лишь ничтожному меньшинству, и то лишь временно, и всякий раз ценою разорения другой части общества. В самом деле, вовсе не достаточно ещё разделить поровну прибыль, получаемую тем или другим частным предприятием, если при этом, для получения прибыли нужно непременно эксплуатировать тысячи других рабочих. То, к чему нужно стремиться, это — *производить с наименьшей возможной тратой человеческих сил наибольшую сумму продуктов, наиболее необходимых для благосостояния всех.*

Частный собственник не может решить этой задачи, и вот почему всё общество в целом будет вынуждено во имя этой необходимости, экспроприировать всё то, что составляет его богатство и что может обеспечить всем довольство. Оно должно будет завладеть землёй, заводами, копиями, путями сообщений, домами, магазинами и т. д. и, кроме того, заняться изучением того, что именно нужно производить в интересах всех, какими путями и какими средствами для этого нужно пользоваться.

## II.

Сколько часов в день придётся работать человеку для того, чтобы обеспечить своей семье обильную пищу, удобное жилище и необходимую одежду? Социалисты часто задавались этим вопросом и приходили обыкновенно к заключению, что для этого достаточно было бы четырёх или пяти часов в день — при условии, конечно, если все будут работать. Ещё в конце прошлого века Франклин останавливается на пятичасовом рабочем дне, и если потребности удобств возросли с тех пор, то возросла также — в гораздо большей степени — и производительность труда.

Ниже, говоря о земледелии, мы увидим, что может дать человеку земля, если он будет обрабатывать её разумно, вместо того, чтобы бросать семя наугад в плохо распаханную землю, как это делается теперь в больших фермах американского Запада, устроенных на гораздо менее плодородной земле, чем обработанная земля цивилизованных стран; с десятины получается всего от 6½ до 9½ четвертей пшеницы, т.е. половина того, что дают фермы европейские и восточно-американские. И всё-таки, благодаря машинам, которые дают возможность двум человекам вспахать в день две с половиною десятины, сто человек успевают производить в течение нескольких месяцев всё, что нужно для обеспечения хлебом, на год, десяти тысяч человек.

Из этого видно, что каждому было бы достаточно при таких условиях

проработать в течение тридцати часов, т.-е. *шести полудней по пяти часов каждый*, чтобы иметь хлеба на целый год, а тридцати полудней было бы достаточно, чтобы обеспечить хлебом семью в пять человек.

Эти данные, взятые из современной нам жизни, доказывают, что при усиленной обработке земли, меньше чем шестидесяти полудней было бы довольно, чтобы доставить целой семье хлеб, овощи и даже фрукты, ныне составляющие предмет роскоши.

Если, с другой стороны, мы посмотрим, во сколько обходятся в настоящее время дома, выстраиваемые в больших городах для рабочих, то мы увидим, что для того, чтобы иметь в английском городе отдельный домик, вроде тех, которые строят в Англии для рабочих, потребовалось бы не больше, чем от 1400 до 1800 пятичасовых рабочих дней. А так как подобный дом держится, в среднем, около пятидесяти лет, то из этого следует, что от 28 до 36 полудней в год достаточно было бы для того, чтобы доставить семье здоровое помещение, довольно красивое и снабжённое всеми необходимыми удобствами. Между тем, нанимая такую же квартиру у хозяина, рабочий отдаёт за неё теперь от 75 до 100 полных рабочих дней в год, в течение своей жизни.

Заметим, что эти цифры представляют максимум стоимости рабочего жилища в Англии, при всех недостатках нашей общественной организации. В Бельгии, например, дома для рабочих выстраивались по гораздо более низким ценам. В общем выводе можно сказать, что в хорошо устроенном обществе тридцати или сорока полудней в год достаточно было бы для того, чтобы устроить вполне удобные и красивые жилища.

Остаётся одежда. Здесь расчёт сделать почти невозможно, потому что барыш, получаемый при продаже одежды, целою кучею посредников, ускользает от всякой оценки. Возьмите, например, сукно и подсчитайте всё, что получают на каждой штуке сукна собственник луга, собственник баранов, продавец шерсти и различные посредники между ними, затем компании железных дорог, хозяева прядильных и суконных фабрик, хозяева портняжных заведений и продавец готового платья, — и вы составите себе некоторое понятие о том, сколько переплачивается с каждой одежды целой куче разных буржуа. Вот почему совершенно невозможно определить, сколько рабочих дней представляет собою пальто, которое вы покупаете, скажем, за двадцать пять рублей в большом магазине.

Несомненно, во всяком случае, одно: это — что современные машины дают возможность производить положительно невероятные количества материй. Чтобы показать это, достаточно будет несколько примеров. В Соединённых Штатах на 751 хлопчатобумажной фабрике (прядильной и ткацкой) 175.000 рабочих, мужчин и женщин, производят до 3.000.000.000 аршин бумажных тканей и кроме того значительное количество пряжи. Одна только бумажная материя представляет собою в среднем около 14.500 аршин в 300 рабочих дней в 9½ часов каждый, т.-е. 52 аршина в десять часов. Если мы примем, что каждая семья потребляет в год 280 аршин миткалю и ситца (что будет очень много), то это будет соответствовать пятидесяти часам работы, т.-е. *десяти полудням по пяти часов каждый*. А кроме того, сюда входила бы и пряжа для получения ниток для шитья, для тканья сукна и

для выделки шерстяных материй, перемешанных с бумагою.

Что касается результатов, достигаемых в одном ткацком ремесле, то из официальной статистики Соединённых Штатов мы узнаём, что в то время, как в 1870 году рабочий работал по 13 и 14 часов в день и производил 12.350 аршин белой бумажной материи в год, шестнадцать лет спустя (в 1886 г.), он вырабатывал уже 39.000 аршин, работая только по 55 часов в неделю. Даже цветных бумажных тканей получалось в год, считая тканьё и окраску, 37.900 аршин в 2.669 часов труда, т.-е. приблизительно 14 аршин в час. Таким образом, для того, чтобы получить нужные 260 аршин белой и цветной бумажной ткани, достаточно было бы работать меньше *двадцати часов в год*.

Нужно заметить при этом, что сырой хлопок доставляется на фабрику почти в том самом виде, в каком он получается с поля, и что в эти же двадцать часов совершаются все превращения, через которые хлопок должен пройти, прежде чем сделаться материей. Но для того, чтобы *купить* эти 260 аршин в лавке, хорошо оплачиваемому рабочему пришлось бы отдать, *по крайней мере*, от 10 до 15 рабочих дней, по 10 часов каждый, т.-е. от 100 до 150 часов. Что же касается английского крестьянина, то ему пришлось бы трудиться целый месяц, чтобы доставить себе эту роскошь.

Уже из этого примера, видно, что пятьдесят полудней работы в год могли бы, в хорошо организованном обществе, дать возможность всей семье одеваться лучше, чем одевается теперь мелкая буржуазия.

Таким образом, нам понадобилось всего шестьдесят полудней труда по 5 часов для того, чтобы получить продукты земледельческого труда, сорок — для жилища, и пятьдесят — для одежды, что составляет только половину года, так как за вычетом праздников, год представляет собою триста рабочих дней.

Остаётся ещё полтора ста рабочих полудней, которые можно употребить для добывания других необходимых предметов: вина, сахара, кофе или чаю, мебели, средств передвижения и проч.

Все эти расчёты, конечно, сделаны приблизительно, но их можно обосновать ещё и иначе. Если мы сочтём, сколько есть в каждой цивилизованной нации людей, ничего не производящих, затем, — людей, занятых в производствах вредных, осуждённых на исчезновение, и наконец — бесполезных посредников, то мы увидим, что в каждой такой нации число производителей в собственном смысле слова легко могло бы быть вдвое больше. А если бы, вместо каждых десяти человек, производством необходимых предметов занимались бы двадцать, и если бы общество больше заботилось об экономии человеческих сил, то эти двадцать человек могли бы работать по пяти часов в день, нисколько не уменьшая этим размеров производства. Если только уменьшить напрасную трату человеческих сил на службе у богатых семей и на государственной службе, где насчитывается один чиновник на десять жителей, и употребить эти силы на увеличение производства всей нации, то продолжительность работы упала бы до четырёх или даже трёх часов в день — при условии, конечно, если мы удовлетворимся существующими размерами производства.

Вот почему, основываясь на всех рассмотренных нами соображениях, — мы можем сделать следующий вывод.

Вообразите себе общество, состоящее из нескольких миллионов жителей, занимающихся как земледелием, так и разнообразными отраслями промышленности — например, Париж с департаментом Сены и Уазы. Представьте себе, что в этом обществе все дети выучиваются, как умственному, так и физическому труду. Допустим, наконец, что все взрослые люди, за исключением женщин, занятых воспитанием детей, обязуются работать по *пяти часов в день*, от двадцати или двадцати двух лет до сорока пяти или пятидесяти, и что они занимаются делом по своему выбору, в любой из тех отраслей человеческого труда, которые считаются *необходимыми*. Такое общество могло бы, взамен, обеспечить благосостояние всем своим членам, т.-е. доставить им довольство гораздо более действительное, чем то, которым пользуется теперь буржуазия. И каждый рабочий такого общества располагал бы по крайней мере пятью свободными часами в день, которые он мог бы посвящать науке, искусству и тем личным потребностям, которые не вошли бы в разряд *необходимого*, причём впоследствии, когда производительность человеческого труда ещё увеличилась бы, в разряд *необходимого* можно было бы ввести и то, что теперь считается недоступным предметом роскоши.

# Потребности, составляющие роскошь.

## I.

Человек не может жить только для того, чтобы есть, пить и иметь пристанище. Как только его насущные потребности будут удовлетворены, в нём пробудятся ещё с большею силою те потребности, которые мы могли бы назвать художественными. Таких потребностей можно насчитать почти столько же, сколько существует различных людей; и чем образованнее общество, чем развитее в нём личность, тем разнообразнее эти желания.

Даже и теперь нам случается встречать людей, отказывающих себе в необходимом ради того, чтобы приобрести какой-нибудь пустяк и доставить себе какое-нибудь удовольствие, или же умственное или материальное наслаждение. С христианской, аскетической точки зрения, это стремление к роскоши можно осуждать, но в действительности именно эти мелочи нарушают однообразие жизни и делают её привлекательной. Стоит ли жить и переносить неизбежные жизненные горести, если человек никогда не может доставить себе, помимо своей ежедневной работы, ни одного удовольствия, никогда не может удовлетворить свой личный вкус?

Конечно, теперь, когда мы стремимся к социальной революции, мы хотим, прежде всего, обеспечить всем хлеб; мы хотим изменить этот возмутительный порядок вещей, при котором нам каждый день приходится видеть сильных и здоровых работников, сидящих без дела, только потому, что нет хозяина, желающего эксплуатировать их, — «порядок», при котором кучи женщин и детей проводят ночи без крова, и целые семьи вынуждены бывают питаться сухим хлебом, — порядок, при котором и дети, и мужчины, и женщины умирают, если даже и не прямо от недостатка пищи, то от недостатка ухода. Именно для того, чтобы положить конец этой возмутительной несправедливости, мы и стремимся к революции.

Но мы ждём от революции ещё и другого. Мы видим, что, вынужденный к тяжёлой борьбе за существование, рабочий осуждён навсегда оставаться чуждым всем высшим наслаждениям, доступным человеку: науке, особенно научному открытию, и искусству, особенно артистическому творчеству. Именно для того, чтобы всем дать доступ к этим наслаждениям, которые известны теперь лишь немногим, для того, чтобы доставить каждому досуг и возможность умственного развития, революция и должна обеспечить каждому хлеб насущный. После хлеба, досуг является её высшею целью.

Конечно теперь, когда, сотни тысяч человеческих существ нуждается в хлебе, топливе, одежде и жилище, роскошь есть преступление, потому что, для того, чтобы она могла существовать, дети рабочих должны умирать с голоду. Но в обществе, где все будут сыты, стремление к тому, что мы называем роскошью, проявится ещё сильнее, чем теперь. А так как все люди не могут и не должны быть похожи друг на друга (разнообразие вкусов и потребностей есть главное условие человеческого развития), то всегда найдутся люди, — и это вполне желательно, — потребности

которых будут, в том или другом направлении, подниматься выше среднего уровня.

Не всякому, например, может быть нужен телескоп, потому что даже тогда, когда образование получит широкое распространение, найдутся люди, которые предпочтут работу с микроскопом изучению звёздного неба. Один любит статуи, другой — картины; одному страстно хочется иметь хорошее пианино, тогда как другой удовлетворится шарманкой. Крестьянин теперь украшает свою комнату лубочными картинками.

Но если бы его вкус развился, он захотел бы иметь хорошие гравюры. Правда в настоящее время человек не может удовлетворить своих артистических потребностей, если он не унаследовал большого состояния; но при усиленном труде, и если, кроме того, он приобрёл такой запас знаний, который даёт ему возможность избрать какую-нибудь свободную профессию, — он всё-таки может надеяться хоть когда-нибудь, более или менее удовлетворить свои художественные склонности. Поэтому, наш коммунистический идеал часто обвиняют в том, что он заботится только об удовлетворении материальных потребностей человека и забывает его художественные склонности. «Вы, может быть, доставите всем хлеб», говорят нам, «но в ваших общественных складах не будет ни хороших картин, ни оптических инструментов, ни изящной мебели, ни украшений — одним словом, ни одного из бесчисленных предметов, служащих к удовлетворению бесконечного разнообразия человеческих вкусов. Вы уничтожаете, таким образом, всякую возможность приобрести чтобы то ни было помимо того хлеба и мяса, которые общество сможет доставить всем, да того серого полотна, в которое вы оденете всех ваших гражданок».

С этим возражением приходится встречаться всем коммунистическим теориям; но его никогда не могли понять основатели коммунистических общин, устраивавшихся в американских степях. Они думали, что если общине удалось запасти достаточно сукна, чтобы одеть всех своих членов, да выстроить концертную залу, в которой «братья» могут от времени до времени более или менее плохо сыграть что-нибудь или устроить доморощенный театр, то этого уже совершенно достаточно. Они забывали, что артистическое чувство существует, как у буржуа, так и у крестьянина, и что если форма его изменяется соответственно культурному уровню, то сущность остаётся та же. В результате выходило то, что хотя эти общины и доставляли всем пропитание, хотя они тщательно устраняли из воспитания всё то, что могло послужить к развитию личности, а иные даже делали библию единственной позволенной книгой для чтения, личные вкусы всегда обнаруживались, а с ними являлось и недовольство: возникали мелкие ссоры по вопросу о покупке рояля, или физических инструментов, или мелких туалетных украшений; а вместе с тем, то, что позволило бы такому обществу развиваться многосторонне, исчезало, так как такое развитие невозможно, если подавляется всякий личный вкус, всякое артистическое стремление, всякое личное особое развитие.

Но, — пойдёт ли по этому пути и анархическая община?

Конечно, нет! Она, конечно, поймёт, что кроме забот об обеспечении всего, что необходимо для материального существования, нужно вместе с тем удовлетворять и

все запросы человеческого ума и чувства.

## II.

Мы откровенно сознаёмся, что когда мы вспоминаем об окружающих нас бесконечной нужде и бесконечных страданиях, когда мы слышим раздирающие душу голоса рабочих, идущих по улице с мольбой о работе — нам становится противно рассуждать о том, что сделает такое общество, где все будут сыты, для того, чтобы удовлетворить желания лиц, которым захочется иметь северский фарфор или бархатную одежду. У нас является желание сказать тогда: «Убирайтесь вы с вашим фарфором. Прежде всего обеспечим хлеб для всех; что же касается до вашего фарфора и бархата, то это мы разберём потом!»

Но всё-таки необходимо признать, что, помимо пропитания, человек имеет ещё и другие потребности, — и сила анархизма именно в том и состоит, что он считается со *всеми* человеческими способностями, со *всеми* стремлениями, не оставляя без внимания ни одного из них. Поэтому мы скажем в нескольких словах, как можно было бы устроиться так, чтобы обеспечить удовлетворение умственных и артистических запросов человека.

Мы уже видели, что работая по 4–5 часов в день, до 45-ти или 50-ти лет, люди могут легко производить всё, что необходимо для доставления обществу полного довольства.

Но в настоящее время, рабочий день человека, привыкшего работать, состоит не из пяти часов, а из десяти, дней триста в году, и притом эта работа продолжается всю жизнь. Его здоровье таким образом портится, а ум притупляется. Между тем, когда человек может разнообразить свою работу, особенно если он может делать так, чтобы физический труд чередовался с умственным, он охотно работает по десяти и по двенадцати часов, не чувствуя усталости. Оно совершенно естественно. Мы можем поэтому сказать, что, если человек будет занят в течение четырёх или пяти часов физическим трудом, необходимым для жизни, ему останется ещё пять или шесть часов, которые он сможет употребить по своему вкусу; и если он соединится с другими людьми, то эти пять или шесть часов дадут ему возможность получить, — помимо того, что необходимо для всех, — ещё и то, что удовлетворяет его личным вкусам.

Прежде всего, он выполнит — в виде ли земледельческого, в виде ли промышленного труда, — тот труд, который он должен отдать обществу, как свою долю участия в общем потреблении. Затем он употребит вторую половину дня, недели или года на удовлетворение своих артистических или научных потребностей.

Для удовлетворения этих различных вкусов и стремлений возникнут тысячи различных обществ. Люди, например, желающие посвящать свой досуг литературе, образуют группы писателей, наборщиков, типографщиков, гравёров, чертёжников, рисовальщиков, стремящихся к одной общей цели: к распространению дорогих им идей.



В наше время писатель знает, что где-то есть вьючное животное — рабочий, которому он может поручить, за ничтожную плату, печатание своих произведений; но он совершенно не интересуется тем, что такое типографское дело. Если наборщика отравляют свинцовой пылью, а ребёнок, смотрящий за машиною, гибнет от малокровия, — то разве на их место не найдётся других несчастных?

Но когда больше не будет бедняков, готовых продавать свои руки за ничтожное пропитание, когда вчерашний рабочий будет сам получать полное образование и у него будут *свои собственные идеи*, которые он захочет передать бумаге и сообщить другим, тогда литераторам и учёным поневоле придётся соединяться между собою для печатания своих прозы и стихов.

До тех пор, пока писатель будет смотреть на рабочую блузу и на ручной труд, как на признак низшей породы, ему будет казаться невозможным чтобы автор сам набирал свою книгу свинцовыми буквами. Сам он, если ему захочется отдохнуть, отправляется теперь в гимнастическую залу или занимается игрой в карты. Но когда ручной труд потеряет свой унижительный характер, когда все должны будут работать своими руками, так как им не на кого будет свалить работу — о, тогда господа писатели, а равно и их почитатели и почитательницы быстро выучатся наборному делу и узнают, какое наслаждение, собираться всем вместе, — всем ценителям данного произведения, — набирать его и вынимать ещё свежим и чистым из-под типографского станка. Эти великолепные машины — составляющие орудия пытки для ребёнка, который теперь с утра до ночи смотрит за ними — сделаются источником наслаждения для тех, кто будет пользоваться ими с целью распространять мысли любимого автора.

Потеряет ли от этого что-нибудь литература? Перестанет ли поэт быть поэтом от того, что он займётся полевыми работами или приложит руки к распространению своих произведений? Потеряет ли романист своё знание человеческого сердца от того, что придёт в соприкосновение с другими людьми, где-нибудь на фабрике, в лесу, при проложении дороги или в мастерской? Уже сама постановка этих вопросов даёт ответ на них. — Конечно, нет!

Может быть некоторые книги окажутся от этого менее объёмистыми, но зато на меньшем числе страниц будет высказано больше мыслей. Может быть, печатать будут меньше лишнего вздора; но то, что будет печататься, будет лучше читаться и лучше оцениваться. Книга будет иметь в виду более обширный круг читателей — читателей более образованных и более способных о ней судить.

Кроме того, печатное искусство, сделавшее так мало успехов со времени Гутенберга, находится ещё в периоде детства. До сих пор ещё требуется два часа, чтобы набрать то, что было написано в десять минут. Поэтому люди ищут более быстрых способов распространения человеческой мысли и, конечно, найдут их<sup>[9]</sup>.

И нет никакого сомнения, что если бы каждый писатель уже должен был участвовать в печатании своих сочинений, — типографское дело сделало бы уже и теперь огромные успехи, и мы не удовлетворялись бы до сих пор подвижными буквами XVII-го века!

Можно ли сказать, что всё это — одна мечта? Для тех, кто наблюдает и думает,

это, конечно, не так. Сама жизнь толкает нас в этом направлении.

### III.

Можно ли назвать мечтою представление о таком обществе, где все участвуют в производстве, все получают образование, дающее им возможность заниматься наукою или искусством, и где люди соединятся между собою, чтобы издавать свои труды, вкладывая в это дело и свою долю физической работы?

Уже теперь научные, литературные и другие общества насчитываются тысячами, и эти общества — ничто иное, как добровольные группы, образуемые людьми, интересующимися той или иной областью знания и соединяющимися для издания своих произведений. Авторам, сотрудничающим в научных изданиях, не платят за работу; самые издания не продаются, а рассылаются даром во все страны света, другим обществам, занимающимся теми же самыми отраслями науки. Одни члены общества печатают в этих сборниках всего одну страницу, резюмирующую какое-нибудь одно наблюдение; другие помещают в них целые объёмистые труды — плоды работы долгих лет; третьи, наконец, просто читают эти издания, прежде чем начать новые исследования. Таким образом мы уже имеем соглашение между авторами и читателями для издания интересующих их произведений.

Правда, в настоящее время учёное общество — совершенно так же, как и газета, принадлежащая какому-нибудь банкиру — находит себе типографщика, который нанимает, для исполнения типографского труда, рабочих. Люди, занимающиеся свободными профессиями, *презирают* ручной труд, который, действительно, выполняется в настоящее время при самых притупляющих условиях. Но человеческое общество, которое даст каждому из своих членов широкое, философское и *научное* образование, сумеет организовать и этот труд так, чтобы он стал гордостью человечества; учёное общество превратится тогда в союз исследователей, любителей и рабочих, — в союз, все члены которого будут знать какое-нибудь ручное ремесло, и все будут интересоваться наукою.

Если, например, их интересует геология, они будут все помогать исследованию земных слоёв, все внесут в это дело свою лепту. Десять тысяч исследователей сделают в год больше, чем теперь делают сто геологов в двадцать лет. А когда нужно будет печатать эти труды, то найдётся десять тысяч мужчин и женщин, знакомых с различными ремёслами, которые будут чертить карты, гравировать рисунки, набирать и печатать текст. Они с радостью будут, все вместе, отдавать свой досуг, летом — на исследования, а зимой — на работу в мастерских. И когда их труды появятся в свет, они найдут уже не сто, а десять тысяч читателей, заинтересованных в общем деле.

Самый ход прогресса указывает нам на этот путь. Когда англичане захотели издать свой большой словарь (под редакцией Murray), они не стали ждать, пока явится какой-нибудь новый Литтре, который посвятит этому делу всю свою жизнь. Они стали искать желающих, и на их призыв откликнулось несколько более тысячи человек, которые изъявили готовность по собственной инициативе и бесплатно

рыться в библиотеках, с целью закончить в несколько лет такой труд, на который не хватило бы целой жизни одного человека. Тот же дух обнаруживается и во всех других отраслях умственного труда, и нужно очень мало знать человечество, чтобы не видеть в этих попытках совместного труда, который понемногу заменяет собою труд отдельного человека, — предвестников будущего.

Но для того, чтобы этого рода предприятия были действительно коллективными, нужно было бы организовать дело таким образом, чтобы пять тысяч добровольцев — писателей, библиографов, наборщиков и корректоров — работали сообща. Этот шаг вперёд сделан уже социалистической прессой, в которой мы находим примеры такого соединения труда ручного и умственного. В наших боевых газетах часто случается видеть, что автор сам набирает свою статью. Правда, это ещё лишь незначительная, пожалуй, — микроскопическая, попытка, но она указывает путь, по которому несомненно пойдёт будущее.

Этот путь — путь свободы. Когда в будущем человек захочет высказать какую-нибудь полезную мысль, идущую дальше среднего уровня идей его времени, ему не придётся искать издателя, который согласился бы положить в издание необходимый капитал. Он будет искать *товарищей* для своей работы среди людей, знающих соответственные ремёсла и понимающих значение нового дела. И вместе с ними он предпримет издание данной книги или газеты.

Литература и журналистика перестанут тогда быть средством обогащения, средством жить на чужой счёт. — Найдётся ли среди людей, знающих положение литературы и журналистики, хоть один, кто бы не мечтал о том времени, когда литература освободится, наконец, как от людей, которые прежде покровительствовали ей, а теперь её эксплуатируют, так и от «улицы», которая, за немногими редкими исключениями, ценит литературу тем выше, чем она пошлее и чем она легче приспособляется к испорченному вкусу большинства?

И литература и наука тогда только займут надлежащее место в деле человеческого развития, когда освободятся от денежного и чиновничьего рабства и будут разрабатываться исключительно теми, кто их любит, для той публики, которая их любит.

#### IV.

Литература, наука и искусство должны быть в руках желающих ими заниматься. Только на этом условии они смогут освободиться от давящего их ига Государства, Капитала и буржуазной посредственности.

Какими средствами обладает в настоящее время учёный для того, чтобы заниматься интересующим его вопросом? Он может только обратиться к помощи государства, которая оказывается одному человеку из ста желающих, и которой нельзя добиться иначе, как обязавшись не отступать от проторённого пути, от намеченной колеи! Вспомним, что французская академия осудила Дарвина, что петербургская академия не признала Менделеева, а Лондонское Королевское общество отказалось напечатать, как «малонаучный», труд Джоуля, в котором было

сделано определение механического эквивалента теплоты<sup>[10]</sup>.

Потому-то все великие исследования, все перевернувшие науку открытия были сделаны помимо академии и университетов, — или людьми достаточно богатыми, чтобы быть независимыми, как Дарвин или Лайель, или людьми, которые надрывали своё здоровье, работая среди лишений и часто среди нищеты, не имея лаборатории, теряя массу времени из-за отсутствия инструментов и книг, — людьми, которые упорно продолжали своё дело, несмотря на его безнадёжность и часто платились за это жизнью. Имя им — легион.

Кроме того, система государственных пособий так вредна для истинного прогресса науки, что во все времена истинные учёные старались избавиться от неё. Именно с этой целью создались в Европе и Америке тысячи учёных обществ, организованных и поддерживаемых добровольцами. Некоторые из них разрослись так широко, что для покупки их сокровищ не хватило бы всех средств казённых учреждений, ни всех богатств банкиров. Ни одно правительственное учреждение не обладает такими богатствами, какие имеет Лондонское Зоологическое Общество, создавшееся исключительно добровольными взносами.

Оно не покупает всех тех животных, которые тысячами наполняют его зоологический сад: множество присылают ему отовсюду другие общества, а также коллекционеры всего мира. То оно получает слона, — подарок зоологического общества в Бомбее, то гиппопотама или носорога, которого присылают ему египетские естествоиспытатели, и эти постоянно возобновляющиеся подарки — птицы, пресмыкающиеся, коллекция насекомых — стекаются к нему ежедневно со всех концов света.

Некоторых из этих подарков нельзя было бы купить ни за какие деньги в мире, — например, то животное, которое какой-нибудь путешественник поймал с опасностью жизни, или к которому он привязался, как к ребёнку, и которое он отдаёт обществу в уверенности, что ему там будет хорошо. И для содержания всего этого огромного зверинца хватает тех сумм, которые платят за вход бесчисленные посетители.

Единственное, чего не хватает, как лондонскому зоологическому саду, так и другим подобным обществам, это — чтобы участие в общем деле выражалось в добровольном труде; чтобы все сторожа и бесчисленные служащие этого огромного учреждения считались членами общества, и чтобы не было таких членов, которые вступают в общество исключительно для того, чтобы иметь возможность поставить на своих визитных карточках таинственные буквы F. Z. S. (Fellow Zoological Society — Член Зоологического Общества). Одним словом, в нём недостаёт духа братства и солидарности.

То, что мы говорим об учёных, можно сказать вообще и об изобретателях. Кто не знает, ценою скольких страданий явилось на свет большинство изобретений! Бессонные ночи, недоедающая семья, недостаток инструментов и материалов для опытов — такова история жизни почти всех тех, кто доставил промышленности всё, что составляет гордость нашей цивилизации — единственную справедливую её гордость.

Что же предстоит сделать для того, чтобы выйти из этого положения, недостатки которого признаются всеми? Введена была ради этого система патентов — и известно, какие она дала результаты. Голодный изобретатель продаёт свой патент за несколько рублей, а тот, кто не дал ничего, кроме капитала, получает все барыши с изобретения — часто очень большие. Кроме того, патент заставляет изобретателя работать в одиночку и скрывать свой труд, который часто кончается вследствие этого неудачей, тогда как самого простого совета о стороны какого-нибудь другого человека, менее поглощённого одною основною мыслью, было бы иногда достаточно для того, чтобы сделать его изобретение плодотворным и применимым. Как и всякое другое проявление власти, патент только мешает развитию промышленности.

В теории он представляет собою возмутительную несправедливость, так как на мысль нельзя взять привилегии; на практике же он оказывается одним из крупных препятствий быстрому развитию изобретений.

Для того, чтобы развить дух изобретательности, нужно, во-первых, чтобы пробудилась мысль; нужна смелость ума, которую всё наше воспитание, наоборот, ослабляет; затем нужно широкое распространение знаний, которое увеличило бы во сто раз число изобретателей; нужно, наконец, сознание, что, благодаря данному изобретению, человечество сделает шаг вперёд, потому что именно энтузиазм, или иногда даже иллюзия будущего блага вдохновляли всех великих благодетелей человечества.

Только социальная революция может дать этот толчок мысли, эту мысль ума, это знание, это убеждение в том, что работа послужит на общую пользу.

Тогда возникнут огромные мастерские, снабжённые всевозможными инструментами и двигателями, огромные промышленные лаборатории открытые для всех изобретателей. Исполнив свои обязанности по отношению к обществу, люди будут приходить сюда работать для осуществления в машинах своих идей; здесь они будут проводить свои свободные пять или шесть часов в день, здесь будут производить свои опыты, здесь будут встречаться с другими товарищами, специалистами в других отраслях промышленности, также приходящими сюда для разрешения своих вопросов; они смогут помогать друг другу, сообщать друг другу сведения, смогут получить, наконец, из столкновения различных мнений и соображений, желаемый результат. И это опять-таки не мечта! Соляной Городок в Петербурге уже пробовал однажды осуществить это, — по крайней мере по отношению к технике. Здесь была, одно время, хорошо обставленная мастерская, открытая для всех, где можно было располагать даром и инструментами, и двигательной силой, и только за дерево и металл приходилось платить то, во что они обходятся. Но рабочие приходили туда только по вечерам, уже истомлённые целым днём работы в своих мастерских. Кроме того, каждый изобретатель скрывал свои изобретения от посторонних взглядов, из боязни патента и капитализма — этого проклятия современного общества, этого подводного камня, лежащего на пути ко всякому умственному и нравственному прогрессу.

А искусство? Со всех сторон слышатся жалобы на падение искусства, и мы действительно далеки от великих художников эпохи Возрождения. Техника всех искусств сделала за последнее время громадные успехи; тысячи людей, обладающих известным талантом, разрабатывают различные его отрасли, — но искусство как будто бежит из цивилизованного мира! — Техника совершенствуется, но вдохновение меньше чем когда бы то ни было, посещает мастерские художников.

И в самом деле, откуда ему взяться? Только великая идея может вдохновлять искусство. Искусство есть творчество, оно должно смотреть в будущее; а между тем, за немногими очень редкими исключениями, профессиональный артист слишком невежествен, слишком буржуазен для того, чтобы видеть какие-нибудь новые горизонты.

Вдохновение не может быть почерпнуто из книг: оно должно исходить из жизни, а современная жизнь дать его не может.

Рафаэль и Мурильо писали в то время, когда искание нового идеала ещё могло уживаться с старыми религиозными преданиями. Они работали для украшения больших церквей — церквей, которые представляли собою дело рук нескольких поколений верующих. И эти таинственные, величавые здания, жившие жизнью окружающего их города, могли вдохновлять художника. Он работал для общенародного памятника; он обращался к толпе и из неё же черпал своё вдохновение. Он говорил с ней в том же духе, в каком говорило верующему всё церковное здание — его величавые пилястры, расцвеченные окна, покрытые скульптурою двери. Теперь же самая большая честь, к какой только стремится художник, это — чтобы его картина была вставлена в золочёную рамку и повешена в каком-нибудь музее. Но что представляет современный музей? — Нечто в роде лавки старьёвщика, где, как, например, в Мадридском музее Прадо, «Вознесение» Мурильо висит напротив «Нищего» Веласкеса и наискосок от его же собак Филиппа II-го. Бедные Веласкес и Мурильо! Бедные греческие статуи, которые жили в акрополях своих городов, а теперь задыхаются среди красных суконных обоев Лувра!

Когда греческий скульптор резал свой кусок мрамора, он старался вложить в него ум и сердце своей общины, своего города, республики. В его произведении воскресали все страсти, все славные предания прошлого. В настоящее время город, как *целое*, перестал существовать. Между его жителями нет никакого духовного общения. Город — не более, как случайное сборище людей, не знающих друг друга, не имеющих между собою ничего общего, кроме желания обогатиться на счёт других; общей родины, общей отчизны, которую представлял город древней Греции или средневековый, не существует... Какую, в самом деле, могут иметь общую родину банкир, занимающийся международными спекуляциями, и фабричный рабочий?

Только тогда, когда данный город, данная местность, данный народ или группа народов снова будут иметь единую общественную жизнь, только тогда искусство сможет черпать своё вдохновение из *общей идеи*, одухотворяющей данный город или данную федерацию. Тогда архитектор сможет создать общественное здание — не церковь, не тюрьму и не крепость; тогда художник, скульптор, резчик,

орнаменталист будут знать, куда поместить свои картины, статуи или украшения, будут черпать силу из одного общего жизненного источника и будут идти рука об руку к славному будущему.

А до тех пор искусство может только прозябать.

Из всех произведений современных художников, самые лучшие всё-таки те, которые изображают природу — деревню и её мирные поля и долины, море с его опасностями, горы с их величавыми видами. Но как может художник выразить поэзию деревни и полевых работ, если он только *смотрел* на эту поэзию, только создавал её в своём воображении и никогда не испытывал её сам; если он знает её только так, как перелётная птица знает страну, над которой пролетает; если в цвете своей молодости он не ходил на заре за плугом, не знал наслаждения косца, скашивающего траву широкими взмахами косы, рядом другими сильными товарищами — косцами, состязующимися в работе, не шёл с косьбы с девушками, наполняющими воздух своим смехом и пением? Любовь к *земле* и к тому, что на ней произрастает, не приобретается, глядя на землю и нивы с кистью в руках; её можно приобрести только служа ей, — а как изображать природу не любя её? Вот почему всё, сделанное в этой области даже нашими лучшими художниками, так несовершенно и часто так неверно: в их произведениях почти всегда преобладает сентиментализм, но нигде в них не видно настоящей *силы*.

Чтобы пережить впечатление великолепного заката солнца, нужно видеть его, возвращаясь с работы, нужно жить с крестьянами так, как живут они. Для того, чтобы понять всю поэзию рыбной ловли, нужно быть в море вместе с рыбаком, во всякие часы дня и ночи, бороться с волнами, спорить с бурей, испытать наслаждение при виде тяжело нагруженной сети и — разочарование, когда приходится возвращаться домой с пустою лодкой. Для того, чтобы знать, что такое сила человека и уметь передать её в произведении искусства, нужно побывать на фабрике, испытать утомление и муки, но вместе с тем и наслаждение творческой работы, нужно самому ковать металл при ослепительном свете плавильной печи, нужно самому почувствовать как *живёт* машина. Нужно, наконец, погрузиться самому в народную жизнь, прежде чем решиться её изображать.

Произведения художников будущего, которые будут так же жить жизнью народа, как жили ею художники прошлого, не будут, очевидно, предназначаться для продажи. Они будут предназначаться для всякого рода общественных, общинных зданий, где каждая картина или скульптура будет неотделимою частью живого целого, которое утратило бы свою целостность без данной картины или статуи, подобно тому, как картина или статуи утратили бы свой смысл, если выделить их из здания. Туда-то и будут приходить люди, чтобы любоваться ими и там-то их гордая и ясная красота будет производить своё благотворное действие на человеческие умы и сердца.

Для развития искусства нужно, чтобы оно было связано с промышленностью тысячами промежуточных ступеней, которые сливали бы их в одно целое, как справедливо говорили Рёскин и великий социалистический поэт Моррис. Всё, что окружает человека — дома и их внутренняя обстановка, улица, общественное здание внутри и снаружи — всё должно обладать прекрасной художественной

формой.

Но это будет возможно только в таком обществе, где все будут пользоваться удовольствием и досугом. Тогда создадутся художественные общества, в которых каждый сможет применить свои способности, так как искусство не может обойтись без побочных работ, чисто ручных или технических. Эти художественные общества возьмут на себя заботу об украшении жилищ своих членов, как это сделали молодые эдинбургские художники, добровольно взявшиеся за украшение стен и потолков местной большой больницы для бедных.

Если художник или скульптор создаст произведение, вытекающее из чисто личного чувства, он подарит его любимой женщине или любимому другу. И не будет ли такое произведение, созданное с любовью, несравненно выше тех картин, которые пишутся, и статуй, которые лепятся теперь для удовлетворения тщеславия всяких буржуа и банкиров, только потому, что они могут заплатить за них много денег.

То же будет и со всеми другими удовольствиями, которых человек ищет помимо необходимого. Тот, кому захочется иметь рояль, войдёт в общество людей, фабрикующих музыкальные инструменты. Там он будет отдавать этому делу часть остающейся у него свободной половины дня. Какое бы ремесло он ни знал, лишь бы знал его в совершенстве, он сумеет приложить свою руку к фабрикации рояля, — и через несколько времени он получит желанный рояль. Если его привлекает изучение астрономии, он присоединится к обществу астрономов, в которое будут входить и философы, и наблюдатели, и вычислители, и фотографы, и артисты, выделяющие астрономические инструменты, и учёные, и любители, — и он получит нужный ему телескоп, а сам в свою очередь внесёт свою долю труда в общее дело, потому что астрономическая обсерватория также нуждается в работе каменщика, столяра, литейщика, механика, как и в работе мастера-художника, завершающего выделку оптического инструмента нарезкою делений.

Одним словом, тех пяти или шести часов, которыми будет располагать каждый, после того, как он отдаст несколько часов производству необходимого, будет более чем достаточно для удовлетворения всех, бесконечно разнообразных потребностей, составляющих роскошь. Тысячи обществ возьмут на себя эту обязанность. То, что теперь является привилегией ничтожного меньшинства, станет доступным для всех. Роскошь перестанет быть глупым и кричащим удовлетворением тщеславного буржуа и станет удовлетворением действительно художественного вкуса.

Счастье всех от этого только увеличится. В труде сообща, с лёгким сердцем и в виду достижения желанной цели — книги, произведения искусства, или предмета роскоши — человек найдёт ту побудительную силу, тот необходимый отдых, который делает жизнь приятной.

Когда мы работаем для уничтожения различия между господами и их рабами, мы работаем, следовательно, для счастья как тех, так и других — для счастья всего человечества.



# Привлекательный труд.

## I.

Когда социалисты говорят, что общество, освободившееся от капитала, может сделать труд приятным и уничтожить всякую работу, внушающую отвращение или вредную для здоровья, над ними обыкновенно смеются. А между тем мы уже теперь видим поразительные успехи в этом направлении, причём везде, где были введены такого рода улучшения, хозяевам оставалось только радоваться происходящему вследствие этого сбережению сил.

Завод и фабрику можно, несомненно, сделать таким же здоровым и привлекательным, как любую научную лабораторию; и нет сомнения также, что сделать это бывает выгодно во всех отношениях. В просторном помещении, при хорошем воздухе, работа идёт лучше, и легче находят себе применение различные мелкие усовершенствования, ведущие к сбережению времени и труда. И если в наше время помещения большей части фабрик так грязны и нездоровы, то это происходит от того, что при постройке их рабочий совершенно не принимается во внимание, и человеческие силы тратятся в них самым нелепым образом.

Однако уже и теперь — хотя пока ещё в виде редкого исключения — можно видеть кое-где фабрики, настолько хорошо обставленные, что работать там было бы вполне приятно, если бы только работа не продолжалась больше четырёх или пяти часов в день и если бы каждый мог вносить в неё некоторое разнообразие, сообразно своим наклонностям.

Мы можем указать, например, на один завод — к сожалению занимающийся изготовлением военных снарядов и орудий, — который в смысле разумной санитарной организации не оставляет желать ничего лучшего. Он занимает площадь в двадцать десятин, из которых пятнадцать покрыты стеклянной крышей. Пол сделан из огнеупорного кирпича и так же чист, как в домике какого-нибудь рудокопа, а стеклянную крышу тщательно моют специально занимающиеся этим рабочие. На этом заводе выковывают стальные слитки весом до 1200 пудов, но присутствие огромной печи, внутри которой температура доходит до тысячи градусов, не чувствуется даже в тридцати шагах от неё: вы замечаете её только тогда, когда раскалённая стальная масса выходит из пасти чудовища. И этим чудовищем управляют всего трое или четверо рабочих, которые открывают то один, то другой кран, причём силою давления воды в трубах приводятся в движение огромные рычаги.

Вы входите в этот завод, ожидая, что вас сейчас же оглушит стук молотов, и видите, что молотов вовсе нет: огромнейшие пушки, весом в 6000 пудов, и оси больших пароходов выковываются просто давлением молотов, приводимых в движение давлением воды в трубах. Для сдавливания металлической массы, рабочий, вместо того, чтобы ковать, просто повёртывает кран. И при такой гидравлической ковке металлическая масса становится более ровною и без изломов, какова бы ни была её толщина.

Вы ждёте ужасного лязга и грохота машин, а между тем видите, что машины разрезают металлические массы в пять сажень длиною так же беззвучно, как будто они резали кусок сыра. А когда мы поделились нашим впечатлением с сопровождавшим нас инженером, то он спокойно ответил:

«Для нас это вопрос экономии. Вот эта машина, например, строгающая сталь, служит нам уже сорок два года, а если бы её части было плохо подобраны или слишком слабы, и оттого трещали и скрипели бы при каждом движении, она не прослужила бы и десяти лет!»

«Вас удивляют плавильные печи? К чему же терять теплоту, вместо того, чтобы ею пользоваться для самой же печи? Это был бы совершенно лишний расход: в самом деле, зачем заставлять кочегаров жариться, когда теряемая путём лучеиспускания теплота представляет собою целые тонны угля?».

«Такою же лишнею тратой были бы и молоты, заставлявшие прежде дрожать все здания на двадцать вёрст в окружности. Ковка давлением гораздо лучше, чем ударом, и стоит она дешевле, потому что потери меньше».

«Просторное помещение вокруг станков? хорошее освещение? чистота? — всё это чистейший расчёт. Человек работает лучше когда он хорошо видит и когда ему не тесно. Вот, в нашем прежнем помещении, в городе, у нас действительно всё было очень скверно. Теснота — ужасная. Вы знаете, как страшно дорого стоит там земля, из-за жадности землевладельцев».

То же самое можно сказать и об угольных копиях. Всякий знает, хотя бы из романа Золя или из газет, что представляют собою теперь угольные копи. Между тем в будущем, когда копи будут хорошо проветриваться, температура в них будет такая же ровная, как теперь в рабочей комнате; не будет в них лошадей, осуждённых всю жизнь прожить и умереть под землёй, так как вагонеты с углём будут передвигаться, либо по бесконечному стальному канату, приводимому в движение у входа в копь, либо электричеством; везде будут вентиляторы, и взрывы станут невозможными. И это также не мечта: в Англии уже существуют несколько таких копей, и одну из них, где всё устроено именно так, нам удалось осмотреть. И здесь так же, как на заводе, хорошее, санитарное устройство привело к громадной экономии в расходах. Несмотря на свою большую глубину (210 сажень), эта копь даёт тысячу тонн угля в день, всего с двумястами рабочих, т.-е. пять тонн (300 пудов) в день на каждого рабочего, между тем как во всех двух тысячах копей Англии *среднее* количество добываемого каждым рабочим угля едва доходит до 300 тонн в год, т.-е. всего 60 пудов в день.

Можно было бы привести ещё много других примеров в доказательство того, что, по крайней мере по отношению к устройству материальной обстановки, мысль Фурье о «привлекательном труде» далеко не составляет неосуществимую мечту. Но социалисты так много уже писали об этом, что в настоящее время все признают, что заводы, фабрики или копи *возможно* сделать такими же чистыми, как лучшие лаборатории современных университетов, и что чем лучше они будут устроены в этом отношении, тем производительнее будет человеческий труд.

Неужели же после этого можно сомневаться в том, что в обществе равных, в

обществе где «рабочие руки» не будут продаваться из-за куска хлеба, труд станет на самом деле отдыхом и удовольствием? Всякая нездоровая или противная работа исчезнет, потому, что при этих новых условиях она несомненно окажется вредной для всего общества, в целом. Такой работой могут заниматься рабы; свободный же человек создаст новые условия труда, — труда привлекательного и несравненно более производительного.

То же будет и с домашними работами, которые теперь общество взваливает на женщину — этого страдальца за всё человечество.

## II.

Общество, возрождённое Революцией, сумеет уничтожить и домашнее рабство — последнюю форму рабства, которая вместе с тем, может быть, и самая упорная, потому что она самая старинная. Но оно примется за это иначе, чем мечтали организаторы фаланстеров, и иначе, чем это думали государственные коммунисты — обожатели суровой власти — с их «армиями труда».

Миллионы человеческих существ никогда не согласятся на жизнь в фаланстере. Правда, даже наименее общительный человек испытывает по временам потребность встречаться с другими людьми для общего труда — труда, который становится более привлекательным, если человек чувствует себя при этом частью одного огромного целого. Но часы досуга, посвящаемые отдыху и близким людям — дело гораздо более личное. А между тем фаланстеры и далее фамилистеры не считаются с этой потребностью, или, если и считаются, то пытаются удовлетворить её искусственным образом.

Фаланстер, который, в сущности, представляет не что иное, как огромную гостиницу, может нравиться некоторым, или даже всем в известные периоды их жизни; но огромное большинство людей всё-таки предпочитают жизнь семейную (конечно, семейную жизнь будущего). Оно больше любит отдельные квартиры, а норманская и англо-саксонская раса предпочитают даже отдельные домики из четырёх, пяти или более комнат, в которых можно жить своей семьёй или в тесном кружке друзей.

Фаланстер может быть хорош иногда, но он оказался бы очень плох, если бы стал общим правилом. Человеческая природа требует, чтобы часы, проводимые в обществе, чередовались с часами одиночества. Одно из самых ужасных мучений в тюрьме состоит именно в невозможности остаться одному, точно так же как одиночное заключение становится в свою очередь пыткой, когда оно не чередуется с временами, проводимыми в обществе других.

Нам говорят иногда, что жизнь в фаланстере экономнее, но это — самая мелочная и пустая экономия. Настоящая, единственно-разумная экономия состоит в том, чтобы сделать жизнь приятной для всех, потому что, когда человек доволен жизнью, он производит неизмеримо больше, чем когда он прокликает всё окружающее<sup>[11]</sup>.

Другие социалисты отрицают фаланстеры, но когда их спрашивают, как устроить домашние работы, они отвечают: «Всякий будет делать свою работу сам. Управляется же моя жена с домашней работой, ну и барыни будут делать то же самое». А если вы имеете дело с играющим в социализм буржуа, то он обращается с приятной улыбкой к жене и говорит: «Не правда ли, душечка, — ты отлично обошлась бы без прислуги в социалистическом обществе? Ты, конечно, стала бы работать, как жена нашего приятеля Павла Ивановича или бравого столяра Ивана Петровича?» На что жена отвечает с кисло-сладкой улыбкой: «Конечно, дружок», а про себя думает в то же время, что, к счастью, это будет ещё не так скоро.

Будь то служанка или жена, мужчина всегда рассчитывает взвалить все домашние работы на женщину. Но женщина, с своей стороны, тоже начинает требовать, наконец, своей доли в освобождении человечества. Она больше не хочет быть вьючным животным своего дома; довольно с неё и того, что она столько лет своей жизни отдаёт на воспитание детей. Она не хочет больше быть в доме кухаркой, судомойкой, горничной! Впереди всех других идут в своих требованиях американки, и в Соединённых Штатах слышатся повсюду жалобы на недостаток женщин, готовых заниматься домашними работами. Барыни предпочитают искусство, политику, литературу или какие-нибудь забавы; работницы с своей стороны, делают то же самое, и повсюду слышатся охи да вздохи насчёт невозможности найти «прислугу». В Соединённых Штатах мало встречаешь американок, которые согласились бы на рабство домашней прислуги.

Решение вопроса подсказывается, впрочем, самую жизнью, и это решение, как водится, очень просто. Машина берёт на себя три четверти всех хозяйственных работ.

Вы чистите сами свою обувь и знаете какое это нелепое занятие? Водить двадцать или тридцать раз щёткой по сапогу — что может быть глупее этого? Только потому, что миллионы европейцев, мужчин и женщин, вынуждены продавать себя для исполнения этой работы, за какое-нибудь логовище и скудное пропитание, только потому, что женщина чувствует себя рабою, возможно, чтобы целые миллионы рук проделывали каждодневно эту глупейшую операцию.

А между тем у парикмахеров уже имеются машинные круглые щётки для приглаживания как ровных, так и взъерошенных волос. Почему же, в таком случае, не приложить того же приёма и к другой конечности человеческого тела? Отчего же нет? И действительно так и делают. В больших американских и европейских гостиницах уже входит в употребление такая машина для чистки сапог, и эта машина распространяется и помимо гостиниц. Так, например, в Англии, в некоторых больших школах, где мальчики живут по пятидесяти и даже по двести человек у учителей, начальники этих пансионатов сдают чистку сапог особому предпринимателю, который берёт на себя вычистить каждое утро на машине тысячу пар сапог. И это оказывается, конечно, выгоднее, чем держать сотни служанок, специально для этого глупейшего занятия. Один знакомый мне бывший сапожник собирает с вечера всю эту грудку сапог, а утром рассылает их вычищенными на машине.

А возьмите мытьё посуды. Есть ли где-нибудь такая хозяйка, которая любила бы

эту работу — скучную и грязную, которая только потому исполняется руками, что труд домашней рабыни считается ни во что?

В Америке и этот рабский труд начинает понемногу заменяться более осмысленным трудом. Есть города, где горячая вода так же проведена в дома, как у нас холодная, и это уже облегчает решение вопроса. А одна женщина, г-жа Кокрэн, разрешила его наполовину: изобретённая ею машина моет, вытирает и сушит двадцать дюжин тарелок или блюд меньше чем в три минуты. Такие машины производятся в Иллинойсе и продаются по ценам доступным для более многочисленных семейств. Что же касается маленьких семей, то они со временем будут отдавать свою посуду в мойку так же, как теперь отдаются уже башмаки для чистки — причём, вероятно, обе эти функции будет брать на себя одно и то же учреждение.

Женщины чистят ножи, сдирают себе кожу с рук, выжимая бельё, метут полы и чистят ковры, поднимая облака пыли, которую потом нужно с большим трудом удалять из всех щелей, куда она садится — но всё это делается так по сию пору только потому, что женщина продолжает быть рабыней. Между тем вся эта работа уже могла бы выполняться гораздо лучше машиной. А когда во все дома будет проведена двигательная сила, тогда всевозможные домашние машины, упрощённые так, чтобы они занимали немного места, вступят в свои права.

Заметим, что сами по себе все такие машины стоят очень недорого, и если теперь мы платим за них так много, то это зависит от того, что они мало распространены, а главное — что всевозможные господа, спекулирующие на земле, на сыром материале, на фабрикации, на продаже, на налогах и т. д., берут с нас по крайней мере в три или четыре раза дороже действительной стоимости, наживаясь, каждый, на всякой вновь возникающей потребности.

Но маленькие машины, которые можно иметь в каждом доме и квартире, не есть ещё последнее слово в освобождении домашнего труда. Семья должна выйти из своей теперешней обособленности, соединиться в артель с другими семьями, чтобы сообща делать ту работу, которая теперь делается в каждой семье порознь.

В самом деле, будущее вовсе не в том, чтобы в каждой семье была одна машина для чистки сапог, другая для мытья тарелок, третья для стирки белья и т. д. Будущее принадлежит одной общей печи, которая отапливает все комнаты целого квартала и таким образом избавляет от необходимости разводить сотни огней. Так и делается уже в некоторых американских городах: из общей печи проводится по трубам во все дома и во все комнаты горячая вода, и чтобы изменить температуру комнаты, достаточно повернуть кран. Если же вы хотите развести в какой-нибудь комнате огонь, то вы можете зажечь газ или электрическую печь в вашем камине. Вся огромная работа чистки каминов и поддержания в них огня, которая поглощает миллионы рабочих рук в Англии, понемногу, таким образом, исчезает, а женщины хорошо знают, сколько времени каминотомы отнимают у них теперь.

Свеча, лампа и даже газ уже отживают свой век. Существуют целые города, где достаточно нажать пуговку, чтобы получить свет, и весь вопрос об электрическом освещении сводится теперь на то, как отделаться от целой армии монополистов,

повсеместно захвативших (при помощи государства) электрическое освещение в свои руки.

Наконец — опять-таки в Америке — идёт уже речь об образовании таких обществ, которые почти вполне могли бы устранить домашнюю работу. Для этого достаточно было бы одного такого учреждения для каждой группы домов. Особая повозка приезжала бы за корзинами подлежащих чистке сапог, за грязной посудой, за бельём, за мелкими вещами, которые нужно чистить (если это стоит того), за коврами — и на другой день привозила бы уже исполненную и хорошо исполненную работу. А в час утреннего завтрака на вашем столе мог бы появиться горячий чай или кофе и весь завтрак.

В самом деле, посмотрите, что делается теперь. Между двенадцатью и двумя часами дня миллионов тридцать американцев и миллионов двадцать англичан съедают кусок жареной говядины или баранины или варёной свинины — изредка курицы или рыбы — и порцию картофеля и тех или других овощей, смотря по времени года. И так делают они изо дня в день и из года в год, изредка разнообразя чем-нибудь свой обед. Для того, чтобы сварить это мясо и сварить эти овощи, по крайней мере десять миллионов огней горят в течение двух или трёх часов, и десять миллионов женщин тратят время на приготовление этих обедов, в которые, в общем, входит не больше десяти различных кушаний.

«Пятьдесят огней», пишет одна американка, «там, где достаточно было бы одного!» Завтракайте, если хотите, у себя дома, в семье, с своими детьми; но зачем, скажите пожалуйста, этим пятидесяти женщинам терять каждое утро два три часа на приготовление такого немудрёного обеда? Выбирайте себе сами кусок говядины или баранины, если уж вы такой лакомка; приправляйте себе сами овощи, если вы предпочитаете тот или другой соус. Но пусть будет всего одна большая кухня и одна хорошо устроенная плита, чтобы сжарить мясо и сварить эти овощи на пятьдесят семей!

Жить, как мы теперь живём, конечно, бессмысленно; но происходит это оттого, что труд женщины никогда, ни во что не ставился; оттого, что до сих пор даже люди, стремящиеся к освобождению «человечества», никогда в своих освободительных мечтаниях не принимали во внимание женщину; оттого, что они считают несовместимым со своим мужским достоинством думать «об этих кухонных делах», которые поэтому и взваливают, как на вьючное животное, на женщину.

Освободить женщину не значит открывать ей двери университета, суда или парламента; потому что освобождённая женщина всегда взваливает домашний труд на какую-нибудь другую женщину. Освободить женщину — значит избавить её от оупляющего труда кухни и прачечной; это значит — устроиться так, чтобы дать ей возможность, кормя и выращивая своих детей, вместе с тем, иметь достаточно свободного времени, чтобы принимать участие в общественной жизни.

И это осуществится, это уже начинает осуществляться. Мы будем помнить, что революция, которая будет только наслаждаться красивыми фразами о Свободе, Равенстве и Братстве, но сохранит домашнее рабство женщины, не будет настоящей революцией. Целой половине человечества, находящейся в кухонном рабстве,

пришлось бы впоследствии начать свою революцию, чтобы освободить себя от другой половины.

# Свободное соглашение.

## I.

Унаследованные нами предрассудки и всё наше совершенно ложно поставленное воспитание и образование так приучили нас видеть повсюду правительство, закон и суд, что в конце концов мы начинаем думать, что если бы не постоянная бдительность полиции и властей, то люди перегрызлись бы как дикие звери, и что, если бы государственная власть вдруг рухнула бы, то на земле водворился бы полный хаос. Так нас учили; а мы, как добрые школяры, так и твердим вослед за «большими». А между тем, мы проходим, совершенно не замечая того, мимо тысяч различных учреждений, созданных людьми без всякого вмешательства закона — учреждений, — которые достигают гораздо более значительных результатов, чем всё то, что происходит под правительственной опекой.

Откройте любую ежедневную газету. Её страницы посвящены почти исключительно действиям правительства и политическим соображениям. Прочти её какой-нибудь китаец, — и он подумает что в Европе ничего не делается без приказа свыше. Но попробуйте найти в такой газете что-нибудь касающееся тех учреждений, которые возникают, растут и развиваются помимо правительственных предписаний — и вы не найдёте ничего или почти ничего. Если в ней и есть отдел «Разных происшествий», то только потому, что они имеют касательство к полиции. О какой-нибудь семейной драме или о каком-нибудь акте протеста упоминается только в том случае, если в дело вмешалась полиция.

Триста пятьдесят миллионов европейцев живут изо дня в день, любя или ненавидя друг друга, работают или прокучивают свои «доходы», страдают или наслаждаются жизнью, но их жизнь (если не считать литературы, театра и спорта) остаётся совершенно неизвестна для газет, покуда в неё, так или иначе, не вмешаются правительства.

То же самое можно сказать и об истории. Мы знаем до мельчайших подробностей жизнь какого-нибудь короля или парламента; история сохранила для нас всё, хорошие или дурные, речи, произносившиеся в разных говорильнях и — как заметил мне один старый парламентарный английский политик, никогда ещё не повлиявшие при голосовании ни на один «голос». Визит, сделанный одним королём другому, хорошее или дурное расположение духа того или иного министра, его остроты и его «интрижки» — всё это тщательно сохраняется историей для потомства. Но попробуйте восстановить повседневную жизнь средневекового города, или познакомиться с механизмом того громадного обмена товаров, который происходил между ганзейскими городами, или узнать, как город Руан строил свой собор, не имея на то казённых миллионов — и вы увидите, как это трудно. Истории известно, в какие дни у такого-то великого короля был насморк, но созидательную деятельность народа, вне Ратуши и Парламента, она не любит заниматься. Если даже какой-нибудь учёный и посвящает свою жизнь этим вопросам, то его труды



остаются неизвестными, между тем как истории политические, которые неверны уже потому, что говорят только об одной стороне жизни обществ, плодятся год от году, читаются и преподаются в школах.

И, устремив всё своё внимание на парламенты, министров и королей, мы даже не замечаем той громадной работы, которая совершается ежедневно повсюду, свободными группами людей, и которая именно и составляет заслугу нашего века.

Вот почему мы постараемся отметить, хотя некоторые из наиболее ярких проявлений этой созидательной работы и показать, что без всяких правительств люди отлично умеют, — если только их интересы не совершенно противоположны — приходиться к соглашению для совместного действия, даже в очень сложных вопросах.

Конечно, в современном обществе, основанном на частной собственности, т.-е. на грабеже, и на узком, следовательно, бессмысленном, индивидуализме, этого рода явления должны быть очень ограничены. Соглашение между людьми не всегда бывает совершенно свободно и часто имеет в виду мелочную или даже вредную цель. Но мы ищем не примеров для слепого подражания, которых современное общество и не могло бы нам дать: мы хотим показать, что, несмотря на гнетущий нас индивидуализм, в нашей жизни всё-таки находится обширное поле для свободного соглашения, и что обойтись без правительства гораздо легче, чем кажется. Если люди, которых основное начало жизни выражается словами: «каждый — для себя», могут вступить в соглашения и вести крупные дела, не назначая над собою капрала, — то не легче ли согласиться людям, имеющим общую — общественную цель?

Мы уже раз указывали на пример железных дорог; но остановимся несколько на нём. Как известно, Европа покрыта сетью железных дорог около 300.000 вёрст длиною, и по этой сети можно путешествовать теперь с севера на юг, с запада на восток, от Мадрида до Петербурга и от Кале до Константинополя, без всякой остановки, и часто даже не пересаживаясь из вагона в вагон (если ехать со скорым поездом). Мало того: посылка, сданная на каком бы то ни было вокзале, дойдёт до человека, которому она предназначается, где бы он ни был, в Турции или в Азии; отправителю достаточно написать место назначения на клочке бумаги.

Этих результатов можно было достигнуть двояким путём. Какой-нибудь Наполеон, Бисмарк, или другой воитель мог завоевать всю Европу и, сидя где-нибудь в Париже, в Берлине или в Риме, начертить на карте линии железных дорог и распорядиться порядком движения поездов. Николай I-й мечтал поступить именно так. Когда ему представили различные проекты железной дороги между Москвою и Петербургом, он взял линейку, провёл по карте России прямую линию между обеими столицами и сказал: «Вот вам линия железной дороги». Дорогу так и построили — по прямой линии, засыпая овраги, воздвигая мосты, которые через несколько лет пришлось бросить, и потратив таким образом неистовые деньги на каждую версту пути.

Это один из возможных способов; но на деле, железные дороги, почти везде, создались совершенно иначе. Они строились по частям; затем эти части связывались

между собою, и наконец, многочисленные компании, которым принадлежали эти части, сговаривались относительно того, как согласовать часы прихода и отхода поездов так, чтобы можно было перевозить товары по всевозможным направлениям, не выгружая их каждый раз, когда приходится переезжать с одной сети на другую.

И всё это было устроено путём свободного соглашения, — путём обмена писем и предложений, путём съездов, на которые представители являлись не для того, чтобы написать закон, обязательный для всех, а для того, чтобы, обсудивши разные вопросы, вернуться затем каждый, к своей компании, с *проектом соглашения*, которое можно было принять или отвергнуть.

Конечно, были и затруднения; встречались упорные люди, которых трудно было убедить. Но общий интерес в конце концов примирил всех, причём для покорения упорствующих не оказалось никакой надобности призывать на помощь начальство и солдат.

Эта гигантская железнодорожная сеть и происходящее по ней огромное движение товаров представляют собою, несомненно, самую характерную черту нашего века, и всё это — дело свободного соглашения. Если бы кто-нибудь предсказал, пять-десять лет тому назад, что объединение совершится этим путём, наши деды приняли бы его за помешанного. — «Никогда, воскликнули бы они, вам не удастся привести к соглашению сто акционерных компаний! Это — сказка, утопия! Установить единство действия можно только при помощи центрального управления, с директором, умеющим заставить себе повиноваться!»

И вот, всего интереснее в этом именно то, что для европейских железных дорог не существует ничего подобного центральному управлению: ни министра европейских железных дорог, ни диктатора, ни европейского парламента, ни даже управляющего комитета! Всё делается путём договора.

Когда какой-нибудь государственный человек говорит нам, что «никогда нельзя будет обойтись без центрального правительства, хотя бы для управления движением товаров», мы можем поэтому спросить его:

«А как же обходятся без него европейские железные дороги? Каким образом им удаётся перевозить по всей Европе миллионы путешественников и целые горы товаров? Если железнодорожные компании могли столкнуться между собою, то почему же не смогут столкнуться таким же образом и рабочие, когда они завладеют железнодорожными линиями? И если петербургско-варшавская и парижско-бельфорская компания могут действовать с необходимым единством без всякого начальства над ними, то почему же такое начальство непременно должно существовать в обществе, состоящем из групп свободных работников? Неужели, по вашему, мошенникам легче вступить в соглашение, чем честным людям?»

## II.

Когда мы стараемся показать на примерах, что даже и теперь, несмотря на несправедливость, лежащую в основе современного общественного устройства,

люди отлично могут, если только их интересы не прямо противоположны, прийти к соглашению без всякого вмешательства власти, то мы отлично знаем, какого рода возражения нам выставят против этого.

Все эти примеры, конечно, имеют один общий недостаток, потому что теперь нельзя указать ни одной организации, которая не основывалась бы на эксплуатации слабого сильным, бедного богатым. Вот почему государственники не преминут возразить нам, со свойственной им логичностью: «Вы видите, что для того, чтобы положить конец этой эксплуатации, необходимо государственное вмешательство!»

Но они забывают уроки истории; они не говорят о том, насколько само государство содействовало ухудшению положения, создавая пролетариат и отдавая этот пролетариат во власть эксплуататоров. Они забывают также решить вопрос о том, — возможно ли прекратить эксплуатацию, пока не исчезнут её основные причины: частное владение капиталом, и бедность, на две трети созданная государством?

Мы легко можем предвидеть поэтому, что по поводу согласия между железнодорожными компаниями, нам скажут: «Разве вы не видите, как эти компании грабят пассажиров, как они угнетают своих служащих? Должно же государство вмешаться и взять под свою защиту публику!»

Но мы уже много раз повторяли, что все эти злоупотребления будут существовать до тех пор пока существуют капиталисты. Между тем это якобы благодетельное государство само дало в руки компаниям ту страшную силу, которой они теперь пользуются. Не оно ли давало им концессии и гарантии? Не оно ли посылало войска против начинавших стачку железнодорожных рабочих? А в начале (в России это бывает ещё и до сих пор), разве оно не доводило железнодорожную монополию до того, что запрещало говорить в печати о несчастных случаях на железных дорогах, чтобы не понижать цену на гарантированные им акции? Разве не оно содействовало той монополии, которая сделала разных Вандербильтов, Поляковых и директоров Парижско-Лионско-Средиземной дороги и дороги Сен-Готардской «королями нашего времени?»

Поэтому, когда мы приводим, в пример, соглашение, молчаливо установившееся между железнодорожными компаниями, мы вовсе не считаем его экономическим идеалом или хотя бы даже идеалом промышленным. Мы этим хотим только показать, что если капиталисты, не имеющие личных доходов на чужой счёт, могут эксплуатировать железные дороги, не создавая для этого никакого международного начальства, то почему же общества, состоящие из рабочих, не смогут сделать того же самого, и даже устроиться лучше, не прибегая к назначению министра европейских железных дорог?

Существует ещё одно возражение, по-видимому более серьёзное. Нам могут сказать, что соглашение, о котором мы говорим, нельзя назвать вполне свободным, потому что крупные компании всегда навязывают свою волю мелким. Можно, например, указать на одну из таких богатых компаний, которая заставляет пассажиров, направляющихся из Берлина в Базель, ехать через Кёльн вместо Лейпцига, или отправляет товары так, что им приходится делать круг сто или двести

вёрст (при больших расстояниях) ради выгоды могущественных акционеров; или же, наконец, прямо разоряет другие, второстепенные линии. В Соединённых Штатах, как пассажирам, так и товарам приходилось иногда следовать самым невероятным маршрутом, ради того, чтобы доллары попадали в карманы какого-нибудь Вандербильта.

Но ответ на это возражение тот же самый. До тех пор, пока существует капитал, крупный будет всегда подавлять мелкий. Однако следует помнить, что это угнетение происходит не только благодаря капиталу: в действительности крупные компании могут угнетать мелкие, главным образом, вследствие поддержки со стороны государства, создающего монополии в их пользу. Половина, если не две трети власти крупного капитала состоит в настоящее время в его власти над правительствами, не только у нас в России, но и в Соединённых Штатах и Канаде.

Маркс очень хорошо показал, как английское законодательство сделало всё возможное для того, чтобы разорить мелкое производство, довести до нищеты крестьянина и предоставить в распоряжение крупных промышленников целые армии бедняков, вынужденных работать за какую угодно плату. Совершенно то же можно сказать и о законодательстве, касающемся железных дорог. Стратегические линии, линии, получающие субсидию, линии, имеющие монополию перевозки международной корреспонденции — всё было пущено в ход в интересах крупных финансистов. Когда Ротшильд — которому должны все европейские государства — вкладывает свои капиталы в ту или в другую железную дорогу, то его верноподанные — министры, короли и президенты республик — немедленно делают всё, чтобы доставить этой линии возможно большие барыши. Без этой прислуги, Ротшильд потерял бы девять десятых своей силы.

В Соединённых Штатах (в этой демократической стране, которую социалисты-государственники иногда выставляют нам как идеал), во всём, что касается железных дорог, царствует самое наглое мошенничество. Беспреданно приходится читать, что та или другая компания убивает своих конкурентов очень низкими тарифами, потому что она получает, с другой стороны, выгоды от земель, которые она, при помощи взяток, получила от государства. Недавно изданные сведения относительно перевозки американской пшеницы показывают воочию насколько велико, в этой эксплуатации слабого сильным, участие государства.

Государство и здесь увеличило в десять, во сто раз силу крупного капитала. И когда мы видим, что синдикатам железнодорожных компаний (опять-таки представляющим собою результат свободного соглашения) удаётся иногда защитить мелкие компании от крупных; то мы можем только удивляться, какой внутренней силой должно обладать само по себе свободное соглашение, чтобы достигнуть таких результатов, несмотря на всемогущего крупного капитала, которому при этом помогает государство.

В самом деле, мелким компаниям постоянно удаётся существовать, несмотря на пристрастное отношение со стороны государства в крупных компаниях. Во Франции мы находим, благодаря её централизации, всего пять или шесть крупных компаний, но в Великобритании существует более 110 компаний, которые несомненно гораздо быстрее перевозят товары и пассажиров, чем французские и немецкие железные

дороги.

Кроме того, вопрос вовсе не в том. Крупный капитал всегда может — с помощью государства — подавить мелкий, *если только это ему выгодно*; но нас интересует в этом самый факт соглашения между сотнями компаний, владеющих европейскими железными дорогами, — *соглашения, которые установились непосредственно, помимо всякого вмешательства центрального правительства*, которое издавало бы законы для различных обществ. Оно создано посредством съездов, на которые собирались представители компаний, где они обсуждали между собою и откуда возвратились к своим доверителям не с законами, а с *проектами соглашений*. Это совершенно новый принцип, противоположный принципу правительственному — и монархическому, и республиканскому, и самодержавному, и представительному. Это — нововведение, которое пока ещё робко проникает в европейские нравы, но которое имеет за собою великое будущее.

### III.

Сколько раз нам случалось встречаться в произведениях социалистов-государственников с такого рода восклицаниями: «А кто же возьмёт в будущем обществе урегулирование движения товаров по каналам? Что, если кому-нибудь из ваших анархистов придёт в голову поставить свою баржу поперёк канала и преградить дорогу целой тысячи пароходов? Кто же его образумит?»

Нужно сознаться, что это — предположение довольно фантастическое. Но нам могут сказать вот что! «А что, если какая-нибудь община или группа захочет, чтобы её баржа шла впереди всех остальных? Эти люди займут в таком случае весь канал, причём они, может быть, везут камни, в то время как какой-нибудь хлебный груз, предназначенный для другой общины не сможет двигаться. Кто же, как не правительство, внесёт порядок в движение судов?».

Действительная жизнь показала однако, опять-таки, что и здесь, как и в других случаях, вполне возможно обойтись без правительства. Свободное соглашение, свободная организация отлично заменяют дорого стоящий и вредный государственный механизм и выполняют ту же задачу лучше его.

Известно, какое большое значение имеют каналы для Голландии: они заменяют для неё дороги. Известно также, какое количество товаров перевозится по ним: всё то, что у нас перевозится по железным или шоссейным дорогам, перевозится там по каналам. Вот уже где люди могли бы драться между собою из-за того, чья баржа пройдёт первая! Вот где правительство должно бы непременно вмешаться для внесения в дело порядка!

Однако это не так. Практические голландцы давно уже нашли способ устроиться иначе, образовав ряд гильдий или синдикатов перевозчиков, — ряд свободных ассоциаций, создавшихся под влиянием потребностей судоходства. Суда записываются в известном порядке и идут одно за другим, поочерёдно. Ни одно из них не должно перегонять остальные, под угрозой исключения из общества. Ни одно из них не имеет права останавливаться в гаванях больше чем на известное

число часов в день, и если за это время оно не найдёт себе груза — всё равно, оно должно сняться пустым и уступить своё место следующим. Таким образом устраняется слишком большое скопление судов. Заметим при этом, что состязание между предпринимателями — неизбежное последствие частной собственности — остаётся в полной силе, и что если это состояние устранить, то соглашение делается ещё более дружественным, ещё более основанным на справедливости.

Само собою разумеется, что всякий собственник парохода имеет право пристать или не пристать к артели судовладельцев: это — его дело. Большинство, однако, предпочло присоединиться. И такого рода артели представляют столько выгод, что они распространились теперь и на Рейне, на Везере, на Одере, до самого Берлина. Перевозчики не стали ждать, пока какой-нибудь Бисмарк присоединит Голландию к Германии и назначит своего «Ober-Haupt General Staats-canal-Navigations-Rath'a» с соответственным количеством нашивок на мундире. Они предпочли прибегнуть к международному соглашению. Мало того: многие из собственников кораблей, путешествующих между немецкими, скандинавскими и русскими портами также пристали к этим синдикатам, чтобы урегулировать перевозку товаров по Балтийскому морю и внести некоторую гармонию в движение кораблей. И все эти артели, свободно возникшие и принимающие лишь добровольно присоединяющихся к ним членов, не имеют ничего общего ни с какими правительствами.

Возможно, и даже очень вероятно, что и здесь крупный капитал угнетает мелкий. Возможно также, что у самого синдиката существует стремление обратиться в монополию — особенно при благосклонном покровительстве государства, которое не замедлит вмешаться в это дело. Но не нужно забывать, что в настоящее время члены этих синдикатов не имеют никаких других интересов, кроме чисто личных. Если же каждый перевозчик будет вынужден, в силу обобществления производства, потребления и обмена, состоять членом целой сотни других ассоциаций, необходимых для удовлетворения его потребностей; если сами суда будут принадлежать целым общинам, городам и союзам, — дело будет обстоять совершенно иначе. Группа перевозчиков, сильная, пока речь идёт о водных сообщениях, почувствует себя слабой на суше и должна будет умерить свои требования, чтобы войти в сношения с железными дорогами, а также с производительными, потребительными и всякими другими группами.

Как бы то ни было, даже не заглядывая в будущее, мы видим здесь ещё один пример добровольно возникшей ассоциации, обходящейся без правительства. Возьмём ещё несколько примеров.

Раз мы уже говорим о судах, то укажем и на одну из самых лучших организаций, создавшихся в наш век — одну из тех организаций, которыми мы по справедливости можем гордиться, а именно на английское общество для спасения на водах (Lifeboat Association).

Как известно, больше тысячи судов ежегодно оказываются разбитыми бурей у английских берегов. В открытом море хорошее судно мало боится бури; главные опасности ждут его, когда оно подходит к берегам; — быстрые течения, которые лишают возможности управлять судном, туманы, подводные камни, мели.

Даже в те времена, когда прибрежные жители нарочно зажигали огни с целью завлечь корабли на подводные камни, а затем завладеть их грузом, — даже и тогда они делали всё возможное, чтобы спасти людей. Заметивши гибнущий корабль, они пускались в море на своих лодках, на помощь потерпевшим крушение, часто сами погибая в волнах. У каждой прибрежной деревушки есть свои предания о героических усилиях мужчин и женщин, рисковавших жизнью для спасения погибающих.

Конечно, государство и учёные также сделали кое-что для уменьшения числа кораблекрушений. Маяки, сигналы, карты, метеорологические предсказания — всё это, несомненно, уменьшило число крушений. Но всё-таки и теперь каждый год приходится спасать около тысячи кораблей, — следовательно несколько тысяч человеческих жизней.

И вот, несколько человек, добровольцев, взялись за дело. Будучи сами хорошими моряками, они изобрели такие лодки для спасения погибающих, которые могут бороться с бурей, не опрокидываясь и не будучи залиты волнами; а затем они начали вести агитацию, чтобы заинтересовать в своём предприятии публику: найти нужные деньги, построить спасательные лодки и распределить их по тем береговым пунктам, где они всего нужнее.

Эти люди были люди дела, а потому не были якобинцами и следовательно не обратились к правительству. Они поняли, что для успеха предприятия им нужно содействие местных моряков, рыболовов; нужно их знание местности, а в особенности — их самоотвержение. А для того, чтобы нашлись люди, готовые по первому сигналу пуститься среди ночи в бушующее море, не останавливаясь ни перед темнотой, ни перед волнами, бороться иногда в течение пяти, шести, десяти часов, прежде чем им удастся подойти к тонущему кораблю, — люди, готовые рисковать своей жизнью для спасения жизни других, — для этого нужно чувство человеческого братства, нужно самопожертвование, которые не покупаются ни чинами, ни «приказами по армии».

Всё это дело создалось, таким образом, добровольцами, исключительно, путём свободного соглашения и личного почину. В прибрежных местностях возникли сотни местных групп, причём начинатели дела обнаружили настолько здравого смысла, что не вообразили себя непогрешимыми, а стали искать совета у местных рыбаков. Какой-нибудь богач посылал, например, в одну из прибрежных деревень 10.000 рублей для постройки спасательной лодки. Его пожертвование принимали, но выбор места, где поставить лодку, и какого типа лодку построить в данном месте, предоставлялся местным рыбаками и морякам.

Планы новых судов не были составлены в адмиралтействе. — «В виду того», читаем мы в докладе Общества, «что необходимо, чтобы люди, пускающиеся в море, вполне доверяли своей лодке. Комитет особенно стремится к тому, чтобы в каждом пункте строили лодку того типа и той оснастки, которые будут выбраны или выработаны самую местною группою». Потому-то в это дело каждый год вносятся новые усовершенствования.

И всё это делается добровольцами, организующимися в местные комитеты и

группы; всё происходит на началах взаимной поддержки и взаимного соглашения! Настоящие анархисты! И делается всё это громадное дело, не взимая никаких налогов — что не помешало между прочим Спасательной Ассоциации получить в прошлом году 430.040 рублей добровольных взносов.

Что касается достигнутых результатов, то вот они:

Ассоциация имела в 1891 году 293 судна; она спасла в этот год 601 человека и 33 корабля, а в-общем, со времени основания ею были спасены 32.671 человеческая жизнь.

В 1886 году, когда три судна Ассоциации погибли в волнах, со всеми находящимися на них людьми, в неё записались сотни новых добровольцев, образовавших местные группы, и результатом этой агитации была постройка более двадцати новых лодок и основание двадцати новых спасательных станций.

Заметим мимоходом, что та же ассоциация посылает ежегодно рыбакам и морякам прекрасные барометры по ценам в три раза меньшим их действительной стоимости. Она распространяет метеорологические знания и сообщает заинтересованным лицам о всех внезапных бурях, предсказываемых учёными.

И опять-таки, повторяем, в организации этих сотен мелких комитетов и местных групп нет абсолютно никакой иерархии, никакого начальства: они состоят исключительно из добровольцев, берущих на себя обязательство выходить в море по данному сигналу, который почти всегда даётся на берегу, с общего согласия самих гребцов и часто — собравшегося на берег населения и из людей, интересующихся этим делом. Центральный Комитет, представляющий собою центр для переписки, совершенно в это не вмешивается.

Едва ли нужно прибавить, что, когда в рыбацкой деревне, где держат спасательную лодку, происходит голосование, — например по вопросу о школах или о местных налогах, то местные лодочные комитеты не принимают участия в нём, как таковые, — скромность, которой не отличаются, к несчастью, члены городских дум. Но зато, с другой стороны, люди, входящие в эти комитеты, не допускают также, чтобы ими распоряжались в их деле спасения погибающих те, кто сам в жизни никогда не боролся с бурей. По первому сигналу об опасности, они являются, сговариваются друг с другом, куда и как держать курс, и отправляются в путь. У них нет ни мундиров, ни петличек; но есть зато полная готовность рисковать жизнью для общего дела.

Возьмём другое подобное же общество — Красный Крест. Оставим в стороне его название и посмотрим, что оно собою представляет.

Представьте себе, что было бы, если бы лет двадцать пять тому назад кто-нибудь сказал бы следующее: «Государство очень хорошо знает, как убивать людей. Убить двадцать тысяч в один день и ранить пятьдесят тысяч, — ему нипочём. Но оно совершенно неспособно оказать помощь своим собственным жертвам. Поэтому, — раз уж существуют войны — в это дело должен вмешаться частный почин. Нужно, чтобы добровольцы взялись за дело и создали для этой гуманной цели международное общество».



Сколько насмешек посыпалось бы на голову того, кто осмелился бы, полвека тому назад, сказать нечто подобное! Его прежде всего называли бы утопистом, а затем, если бы его удостоили ответом, то наверное сказали бы: «Глупый вы человек! Именно там, где помощь будет всего нужнее, добровольцев-то не окажется! Ваши свободные госпитали сосредоточатся все в безопасных местах, а на перевязочных пунктах, на поле битвы, никого не будет. Кроме того, подумайте о соперничестве между различными национальностями! Дело кончится тем, что несчастные солдаты будут умирать без всякой помощи». И у каждого нашлось бы своё разочаровывающее возражение. Кто из нас не слышал подобного рода речей!

И вот мы теперь знаем, что из этого вышло. Везде, в каждой стране, в тысячах местностей организовались общества Красного Креста, и когда вспыхнула война 1870–71 гг., его добровольцы могли приняться за работу. Явились во множестве люди, — мужчины и женщины, которые предложили свои услуги; госпитали и перевязочные пункты организовались сотнями; целые поезда перевозили всё нужное для госпиталей: жизненные припасы, бельё, лекарства для раненых. Английские комитеты посылали даже целые транспорты припасов, одежды, лопат, семян для обсеменения полей, рабочий скот, — даже паровые плуги с работавшими при них людьми, чтобы помочь обрабатывать землю в местностях, разорённых войною. Загляните только в сочинение Густава Моннье «Красный Крест» — и вы будете поражены размерами того, что было сделано.

Что же касается до пророков, всегда готовых отрицать в других людях всякий здравый смысл и всякий ум, и считающих только самих себя способными управлять миром по своему произволу, то ни одно из их пророчеств не сбылось.

Самоотвержение добровольцев Красного Креста оказалось выше всяких похвал. Они стремились занять именно самые опасные пункты, и в то время, как французские врачи, находившиеся на службе у государства, убежали при приближении пруссаков со всем своим штатом, — добровольцы Красного Креста продолжали своё дело под пулями, вынося все грубость, как бисмарковских, так и наполеоновских офицеров и ухаживая одинаково за ранеными, к какой бы национальности они ни принадлежали. Голландцы и итальянцы, шведы и бельгийцы, даже японцы и китайцы, отлично уживались между собою. Они размещали свои госпитали и амбулатории, смотря по надобности данной минуты, и если в чём соперничали, то в гигиеничности своих больниц. Сколько французов до сих пор ещё вспоминают с чувством глубокой благодарности о той заботливости, с которою ухаживала за ними в амбулаториях Красного Креста какая-нибудь сестра милосердия, голландка или немка!

Но для сторонников распространения государственной власти всё это не имеет никакого значения! Их идеал, это — полковой военный врач, состоящий на службе государства. И пусть пропадает весь Красный Крест со всеми его гигиеническими госпиталями, раз только его доктора — добровольцы, а не чиновники!

Вот, следовательно, перед нами организация, недавно только возникшая и уже насчитывающая своих членов сотнями тысяч,— организация, которая имеет свои амбулатории, свои больницы, свои поезда, вырабатывает новые приёмы для лечения ран, и которая зародилась благодаря инициативе нескольких человеческих

личностей.

Нам возразят, может быть, что и государства, во всяком случае, тоже приняли в этом деле некоторое участие. Это правда. К сожалению, государство уже наложило свою руку на «Красный Крест», чтобы завладеть им, сделать из него чиновничий департамент. Центральные комитеты «Красного Креста» состоят уже под председательством тех, кого лакеи зовут «принцами крови», а местные комитеты теперь уже пользуется покровительством различных губернаторов и генеральш. Но разве от этого покровительства зависел успех организации во время франко-прусской войны? Он зависел от тысячи местных комитетов, в каждой стране, от деятельности отдельных личностей, от самоотвержения десятков тысяч мужчин и женщин, стремившихся облегчить страдания жертв войны. И это самоотвержение было бы ещё сильнее, если бы государства вовсе не вмешивались в дело.

Во всяком случае, не от распоряжений какого-нибудь центрального международного комитета зависело то, что в 1871 году англичане и японцы, шведы и китайцы поспешили на помощь к раненым. Не распоряжения какого-нибудь интернационального министерства заставляли выстраивать госпитали на занятой войсками территории и устраивать перевязочные пункты на полях сражения. Всё это сделалось благодаря почину добровольцев из каждой страны, которые, явившись на место войны, вовсе не сцепились между собою, как предсказывали якобинцы, и принялись за работу без всякого различия национальностей.

Мы можем, конечно, сожалеть о том, что столько усилий употреблено на такое дело и спросить, как спрашивает ребёнок в стихотворении Виктора Гюго: «Зачем же их ранят, если потом их лечат?» Стремясь уничтожить силу капитала и власть буржуазии, мы тем самым работаем для прекращения этих убийств, и нам, конечно, было бы гораздо приятнее, если бы добровольцы Красного Креста употребили свои силы, вместе с нами, на то, чтобы уничтожить войны вообще.

Но мы должны всё-таки указать на эту огромную организацию, как на одно из доказательств плодотворных результатов, достигаемых свободным соглашением и свободною взаимопомощью.

Если бы мы захотели искать примеров даже в искусстве истребления людей, то и тут мы нашли бы их. Достаточно будет указать на те многочисленные общества, которым немецкая армия обязана, главным образом, своей силой — силой, которая вовсе не зависит, как обыкновенно думают, от одной дисциплины. Общества, имеющие целью распространение военных знаний, чрезвычайно распространены в Германии, и на один из последних конгрессов немецкого военного союза (Kriegerbund) явились делегаты от 2452 обществ, насчитывавших в общем 151.712 членов и связанных между собою в одну федерацию.

Технические знания немецкой армии вырабатываются вовсе не в казармах, а в бесчисленных обществах стрелков, обществах для военных и стратегических игр, для топографических занятий и т. д. Это — целая огромная сеть всевозможных обществ, охватывающих военных и штатских, географов и гимнастов, охотников и техников, — обществ самостоятельно возникающих, организующихся, соединяющихся в федерации, обсуждающих интересующие их вопросы,

устраивающих экскурсии, съёмки и исследования. Именно этим добровольным свободным обществам обязана немецкая армия своею умственной силою.

Эти общества преследуют очень скверную цель — поддержание военной империи. Но в настоящую минуту нам важно лишь отметить то, что само государство, для которого организация военного дела составляет самую высшую цель, поняло, что это дело разовьётся лучше, если оно будет предоставлено свободному соглашению групп и вольному почину отдельных людей.

В настоящее время к свободному соглашению обращаются даже в деле войны: укажем, в подтверждение этого, на триста тысяч английских волонтёров, на английскую национальную артиллерийскую ассоциацию и на образующееся теперь общество для защиты английских берегов — общество, которое, если оно создастся, окажется наверное гораздо более деятельным, чем морское министерство с его постоянно взлетающими на воздух броненосцами и гнущимися, как свинец, штыками.

Повсюду, государство отказывается от своей привилегии и уступает свои «священные» функции частным лицам. Повсюду в его область вторгается свободная организация. Указанные нами факты представляют собою, однако, лишь ничтожную долю того, что готовит нам свободное соглашение в будущем, когда государство перестанет существовать.

# Некоторые возражения.

## I.

Разберём теперь главные возражения против коммунизма. Большинство из них зависит от простого недоразумения, но некоторые затрагивают очень важные вопросы и заслуживают поэтому нашего полного внимания.

Мы не будем возражать на аргументы, направленные против государственного коммунизма: мы сами признаём их справедливость. Цивилизованным нациям пришлось слишком много выстрадать в борьбе за освобождение личности, чтобы они могли отречься от своего прошлого и примириться бы с правительством, вмешивающимся в малейшие подробности жизни граждан — даже если бы это правительство не руководилось никакой другой целью, кроме общего блага. Если бы общество, основанное на государственном коммунизме, когда-нибудь возникло, оно не могло бы продержаться, и должно было бы, под влиянием всеобщего недовольства, или распаться, или перестроиться на началах свободы.

Мы займёмся здесь анархическим коммунистическим обществом, т.-е. обществом, которое признаёт полную свободу личности, не создаёт никакой власти и не прибегает ни к какому принуждению для того, чтобы заставить человека работать. Посмотрим же, ограничиваясь экономической стороной вопроса, может ли развиваться и продержаться такое общество — состоящее из людей таких, какими мы видим их теперь: не лучших и не худших, не более и не менее трудолюбивых?

Мы знаем, что на это возражают: «Если существование каждого будет обеспечено, и необходимость зарабатывать себе хлеб не будет вынуждать человека работать, то работать никто не станет. Всякий постарается взвалить работу на другого, если она не будет для него обязательна». Заметим, во-первых, как необдуманно это возражение: в нём совершенно упускается из виду, что весь вопрос сводится здесь на сравнение. А именно — действительно ли наёмный труд даёт такие плодотворные результаты, и не бывает ли уже и теперь добровольный труд более производительен, чем труд из-за задельной платы? Это — вопрос, который требует внимательного изучения; но в то время как в точных науках даже гораздо менее важные и сложные вопросы решаются лишь после серьёзного исследования фактов и их взаимных отношений, — здесь, для того, чтобы высказать безапелляционное решение, люди довольствуются одним каким-нибудь фактом, например, неудачей какого-нибудь коммунистического общежития в Америке, не изучая даже действительных причин неудачи. Они поступают как адвокат, который видит в защитнике противной стороны — не представителя других интересов или взглядов, а просто соперника в ораторском состязании. Если удаётся найти удачный ответ на возражение, то ему решительно всё равно, прав ли он по существу дела, или нет. Вот почему изучение того, что составляет самую основу политической экономии, т.-е. условий наиболее благоприятных тому, чтобы общество получало наибольшее количество полезных продуктов с наименьшей затратой сил, так медленно подвигается вперёд. Люди ограничиваются повторением общих мест или

же просто отделяются молчанием на этот основной вопрос.

Такое легкомыслие тем поразительнее, что даже в капиталистической политической экономии уже можно встретить людей, высказывающих, под влиянием силы фактов, некоторое сомнение в той установленной основателями их науки аксиоме, что боязнь голода составляет лучшее средство, чтобы понудить людей к производительному труду. Они начинают замечать, что в производстве играет роль коллективный элемент — работа сообща — которую слишком пренебрегали до сих пор и которая играет, может быть, гораздо большую роль, чем перспектива задельной платы. Низкое качество наёмного труда, огромная трата человеческих сил во всём современном земледелии и во всей промышленности, всё растущее число тунеядцев, старающихся в настоящее время взвалить свою работу на плечи других, всё яснее и яснее обнаруживающееся отсутствие *жизни* в производстве — всё это наводит раздумье даже на экономистов «классической» школы. Некоторые из них начинают подумывать о том, не ошиблись ли они, построив всё своё рассуждение на воображаемом существе, преувеличенно дурном, которое руководится исключительно жаждой наживы или заработка? Эта ересь проникает даже в университеты и изредка пробивается даже на страницах сочинений правоверных политико-экономов. Но всё это не мешает очень многим социалистическим реформаторам оставаться сторонниками личного вознаграждения за труд, — задельной платы — и они продолжают защищать старую крепость наёмного труда, хотя даже сами её защитники уже сдают свою крепость камень за камнем.

Итак, эти господа боятся, что народ не будет работать, если только он не будет к этому вынужден голодом. Но разве мы не слышали тех же опасений уже два раза в продолжение жизни нашего поколения: от американских рабовладельцев перед освобождением негров, и от русских помещиков перед освобождением крестьян? «Если над негром не стоять с кнутом, он не будет работать», говорили рабовладельцы. «Если за крестьянином не смотреть, он оставит поля необработанными», говорили русские крепостники. Эту старую песню французских дворян 1789 года, песню средневековых помещиков — песню старую как мир (её пели уже при Фараонах) мы слышим всякий раз, когда дело идёт об уничтожении какой-нибудь несправедливости в человечестве. И всякий раз, действительность блистательно опровергает её. Освобождённый крестьянин 1792 года работал с такой энергией, какой не знали его предки; освобождённые негры работают больше, чем их отцы, едва только они могут заполучить кусок земли: а русский крестьянин, ознаменовавши медовый месяц своего освобождения празднованием Святой Пятницы наравне с воскресеньем, принялся следующим же летом за работу, с тем большим усердием, чем полное было его освобождение. Там, где у него нет недостатка в земле он работает буквально с остервенением. Эта рабовладельческая песня может иметь значение только для самих рабовладельцев; что же касается рабов, то они отлично знают ей цену и ради чего она поётся.

Кроме того, кто же как не сами экономисты учили нас, что если наёмный рабочий исполняет с грехом пополам свою работу, то действительно напряжённого и производительного труда можно ждать только от человека, который видит, что его собственное благосостояние возрастает по мере его усилий? Ведь все хвалебные гимны в честь частной собственности сводятся именно к этой аксиоме. В самом

деле: когда экономисты, стремясь доказать благотворность собственности, показывают нам, как невозделанная земля — какое-нибудь болото или какая-нибудь каменистая почва — покрывается, орошаемая потом крестьянина-собственника, богатыми жатвами, они доказывают как раз противное своему вышеприведённому взгляду. Когда они утверждают — что совершенно верно, — что единственный способ для экономной траты труда, это — если производитель владеет орудиями труда, то не доказывают ли они этим самым, что труд бывает действительно производителен только тогда, когда человек работает совершенно свободно; когда он может до известной степени сам выбирать себе занятие: когда за ним нет стеснительного надзора; и наконец, когда он знает, что его трудом воспользуются он сам и другие, подобно ему трудящиеся люди, а не какой-нибудь тунеядец. Это — единственный вывод, который можно сделать из их слов, — и с этим выводом согласны и мы.

Что же касается до формы владения орудиями труда, то в их рассуждениях собственность представляется только как наилучший путь для обеспечения за земледельцем продуктов его труда и результатов вводимых им улучшений. Чтобы доказать однако, преимущество *личной частной собственности* перед всякой другой формой владения, экономисты должны были бы показать нам, что при общинном землевладении и труде земля никогда не даёт таких обильных урожаев, как при частном. В действительности же это не так; опыт показывает противное.

Возьмите, например, какую-нибудь общину Ваадскаго кантона в Швейцарии, зимой, когда все жители деревни отправляются рубить лес, принадлежащей им всем в силу общинного владения. Именно в эти-то «праздники труда» и проявляется наибольшее рвение к работе, наибольшее напряжение человеческих сил. Никакой наёмный труд, точно так же как и никакие личные усилия собственника, не могут сравниться с ним.

Или возьмите русскую деревню, когда все выходят косить луг, принадлежащий общине, или же взятый миром в аренду — и вы увидите, что *может* сделать человек, когда он работает сообща для общего дела. Косцы стараются друг перед другом захватить своей косой как можно больший круг; женщины поспевают за ними, спеша перетряхивать накошенную траву. Это — настоящий праздник труда, во время которого сто человек успевают в несколько часов больше, чем они сделали бы в несколько дней, если бы каждый работал отдельно. И какое печальное зрелище представляет рядом с этим труд одинокого собственника!

Можно было бы указать, наконец, на тысячи других примеров из жизни американских пионеров, швейцарских, немецких и русских деревень, русских артелей каменщиков, плотников, перевозчиков, рыболовов, которые прямо делят между собою получаемые продукты или вознаграждение, не прибегая к посредничеству подрядчиков. Можно было бы указать ещё и на общую охоту кочевых племён и на бесчисленное множество других, вполне успешных общинных предприятий; повсюду мы увидели бы одно и то же: бесспорное превосходство общинного труда над трудом наёмным, или над трудом единичного собственника.

Лучшим побуждением к труду всегда было благосостояние, т.-е. удовлетворение физических, нравственных и художественных потребностей человека, и уверенность

в возможности этого удовлетворения. И в то время, как наёмник едва производит то, что ему существенно необходимо произвести, свободный рабочий, который видит, что по мере его усилий возможность благосостояния и роскоши растёт, и для него самого и для других, — прилагает гораздо больше ума и энергии и получает прекрасные продукты в несравненно большем изобилии. Один чувствует себя на веки прикованным к нужде; другой же может рассчитывать в будущем на досуг и на все связанные с ним удовольствия.

В этом лежит весь секрет. И вот почему общество, которое поставит себе целью общее благосостояние и возможность для всех пользоваться жизнью во всех её проявлениях, получит с помощью добровольного труда несравненно лучшие и гораздо более обильные продукты, чем все те, которые получались до сих пор в производстве, основанном на рабстве, барщине и наёмном труде.

## II.

В настоящее время всякий, кто только может взвалить на другого необходимый для жизни труд, спешит это сделать; потому многие господа думают, что так будет продолжаться вечно. Самый необходимый труд есть, главным образом, труд ручной. Кто бы мы ни были — художники ли, учёные ли — никто из нас не может обойтись без предметов, добытых этим трудом: хлеба, одежды, дорог, пароходов, освещения, тепла и т. д. Мало того: какой бы высокохудожественный или утончённо метафизический характер ни носили наши наслаждения, все они без исключения основаны на ручном труде. И вот от этого-то труда, лежащего в основе всей жизни, и старается всякий избавиться.

Это вполне понятно, и в наше время так и быть должно. Заниматься физическим трудом значит теперь — быть запертым в течение десяти или двенадцати часов в день в нездоровой мастерской и быть прикованным к одной и той же работе десять, тридцать лет — всю жизнь. Это значит — осудить себя на ничтожный заработок, на неуверенность в завтрашнем дне, на безработицу, очень часто на нужду, ещё чаще — на смерть в больнице; и всё это, после того, как человек в течение сорока или более лет работал для прокормления, одевания, развлечения и обучения — не себя самого или своих детей, а других. Это значит — нести на себе всю жизнь в глазах людей печать более низкого уровня, и самому сознавать, что стоишь ниже других, потому, что — что бы ни говорили об этом господа, восхваляющие «мозолистую руку» в застольных своих речах — рабочего, занимающегося ручным трудом, всегда ставят ниже учёного, писателя, художника — хоть плохеньких. И действительно, человек, проработавший десять часов в мастерской, не имеет ни времени, ни возможности доставлять себе высшие научные и художественные наслаждения; мало того, он не может и подготовиться к тому, чтобы ценить многие из них, требующие подготовки; поневоле ему приходится, таким образом, довольствоваться крохами, падающими со стола привилегированных сословий.

Мы вполне понимаем поэтому, что физический труд, при таких условиях, считается проклятием судьбы; мы вполне понимаем, что все мечтают только об

одном: выйти самим, или вывести своих детей, из этого униженного состояния и создать себе «независимое» положение, т.-е. иными словами — жить самим на счёт труда других! И это будет так до тех пор, пока будет существовать класс людей, обречённых на ручной труд, а рядом с ним другой класс, именующий себя «работниками мысли» — класс чернорабочих и класс белоручек.

Какой, в самом деле, интерес может представлять этот отупляющий труд для рабочего, который заранее знает, что от колыбели до могилы проживёт он среди лишений, бедности и неуверенности в завтрашнем дне? Когда видишь, что каждое утро громадное большинство людей принимается вновь за свой печальный труд, то остаётся только удивляться их силе воли, их верности своей работе, их привычке, которая позволяет им, подобно пущенной в ход машине, вести изо дня в день эту нищенскую жизнь, жизнь — без всякой надежды на завтрашний день, даже без всякого, хотя бы смутного предвидения, что если не они, то, по крайней мере, их дети войдут когда-нибудь в состав мыслящего человечества; что хоть они насладятся сокровищами природы, всюю прелестью знания и творчества, научного и художественного, доступного теперь лишь ничтожному привилегированному меньшинству.

Именно для того, чтобы положить конец этому разделению между умственным и физическим трудом, мы и хотим уничтожения наёмного труда. Ради этого мы и стремимся к социальной революции. Труд перестанет тогда быть проклятием судьбы и сделается тем, чем он должен быть, т.-е. свободным проявлением всех человеческих способностей.

Пора, наконец, подвергнуть серьёзной критике эту старую басню, будто бы труд лучшего качества получается из-под палки из-за боязни потерять свой заработок. Стоит только посмотреть на любую фабрику или завод — не на те образцовые заводы, которые можно изредка встретить кое-где — а на завод обыкновенный, такой как все, чтобы увидеть ту страшную, невероятную трату человеческих сил, которой отличается вся современная промышленность. На одну, более или менее разумно организованную фабрику, приходится сто или даже больше таких, которые тратят драгоценную силу человеческого труда — из-за того только, чтобы доставить хозяину на несколько копеек больше прибыли в день — буквально на несколько копеек.

Вот, например, перед вами молодые парни, лет двадцати, двадцати пяти, сидящие целые дни на скамье, согнувшись, и лихорадочно встряхивающие головой и всем телом, чтобы связывать, с быстротой фокусников, концы остатков бумажных нитей, возвращающихся к ним со станков, на которых ткут кружева. Я просто с ужасом отшатнулся, когда увидел эту ужасную картину на одной из больших фабрик в Ноттингеме. За что губится так человеческая жизнь? За что люди, молодые, полные сил, доводятся до этого позорного состояния? — Буквально из-за грошей! Какое потомство оставят после себя эти дрожащие, отошальные, полупризрачные люди? Но... «они занимают на фабрике так мало места, а между тем каждый из них приносит мне около двадцати копеек, чистых, в день», — отвечает хозяин. «Они с детства стоят на этом».

В других местах, — например в одной из громадных лондонских спичечных



фабрик, — которая и патриотизм эксплуатирует в своих объявлениях — «мы, дескать, покровители национального труда» — вы видите молодых девушек, ставших лысыми в семнадцать лет оттого, что они на голове носят из одной залы в другую подносы со спичками, — между тем как самая простая машина могла бы подвозить эти спички к их столам. Но... «труд женщин, не имеющих определённого ремесла, так дешёв! К чему тут машина! Когда эти женщины не смогут больше работать, их так легко будет заменить, — их столько толчется на улице».

На крыльце богатого дома в Брайтоне, в Ньюкасле, вы увидите в холодную зимнюю ночь ребёнка, уснувшего с пакетом газет в руках. Снег и слякоть бьют на его рубище... В Ньюкасле он ходит босоногий. — Но... «детский труд так дешёв! Ведь если он продаст две дюжины номеров, он принесёт мне шиллинг (полтинник), и сам заработает восемь копеек» — говорят вам. — Восемь копеек, вместо того, чтобы обучить его полезному ремеслу!..

Или вот здоровый и крепкий человек ходит без дела — никому он не нужен, — а его дочь чахнет и гибнет в ашуретурной, где держат температуру русской бани, чтобы покрывать бумажную реднину густой смазкой и продавать её потом за плотную материю, а сын накладывает ваксу в жестянки, тогда как самая пустячная машина сделала бы это в десять раз лучше и в сто раз быстрее...

И так оно идёт повсюду, от Сан-Франциско до Москвы и от Неаполя до Стокгольма. Бесплезная, ненужная, глупая трата человеческих сил составляет преобладающую, отличительную черту нашей промышленности, — не говоря уже о торговле, где она достигает ещё более колоссальных размеров.

Какая горькая насмешка звучит в самом названии политической *экономии*! Ведь это — наука о бесполезной трате сил при системе наёмного труда!

И это ещё не всё. Поговорите с директором какой-нибудь благоустроенной фабрики. Он непременно начнёт плакаться перед вами, самым наивным образом, о том, как трудно найти в настоящее время умелого, сильного и энергичного рабочего, который бы отдавался своей работе с увлечением. «Если бы среди тех двадцати или тридцати человек, которые приходят к нам каждый понедельник просить работы, нашёлся бы хоть один такой», скажет он вам, «то он был бы наверное принят, даже если бы вообще мы в это время уменьшали число рабочих. Такого рабочего всегда можно узнать с первого взгляда и его везде примут; впоследствии, всегда можно будет отделаться от лишнего рабочего — какого-нибудь старика, или человека менее умелого». И вот человек, лишившийся таким образом работы, — как и все другие, которые завтра окажутся в таком же положении, — вступает в огромную запасную армию капитала: в ряды «рабочих без работы», которых призывают к машинам и станкам только в моменты спешных заказов, или в случае, если нужно сломить сопротивление стачечников. Или же он попадает в ту громадную армию пожилых или посредственных рабочих, которая околачивается около второстепенных, плохеньких фабрик и заводов — тех, которые едва-едва покрывают свои расходы и держатся только всевозможными урезываниями рабочей платы и обманом покупателей, особенно в далёких странах.

Если, затем, вы поговорите с рабочим, то вы узнаете, что в английских

мастерских и фабриках принято рабочими за правило, — никогда не производить всей той работы, на которую он способен. Горе тому рабочему, который не послушается этого совета своих товарищей, получаемого при поступлении! В самом деле, рабочие отлично знают, что если они в момент великодушия уступят настояниям хозяина и согласятся работать более энергично ради исполнения каких-нибудь спешных заказов, то эта напряжённая работа будет впоследствии всегда требоваться с них при установлении размеров задельной платы. В силу этого, на девяти фабриках из десяти, они предпочитают никогда не производить столько, сколько они способны произвести. В некоторых отраслях промышленности рабочие ограничивают производство, чтобы удержать цену на производимый ими товар на известной высоте; в других же прямо передают друг другу пароль: *go capnu* («полегоньку»)! «За плохую плату — плохая работа».

Наёмный труд — труд подневольный, который не может и не должен давать всего того, на что он способен. Пора уже покончить с этой сказкой о заработной плате, как лучшем средстве для получения производительного труда. Если промышленность даёт в наше время во сто раз больше чем во времена наших дедов, то мы обязаны этим быстрому расцвету физики и химии в конце прошлого века; это произошло, не благодаря капиталистической системе наёмного труда, а *несмотря на неё*.

### III.

Те, кто серьёзно занимался изучением этого вопроса, не отрицают всех преимуществ коммунизма — при условии, конечно, если это будет коммунизм совершенно свободный, т.-е. анархический. Они признают труд, оплачиваемый деньгами — даже если эти [деньги] облекутся в форму «рабочих чеков» — и производимый в рабочих ассоциациях, находящихся под руководством государства, будет всё-таки нести на себе печать труда наёмного и сохранит все его недостатки. Они признают, что в конце концов это дурно отзовется и на всём порядке вещей, даже в том случае, если общество станет обладателем средств производства. Они соглашаются и с тем, что при всестороннем образовании, которое станет доступным для всех детей, при привычке к труду, существующей в цивилизованных обществах, при свободе в выборе и перемене рода занятий и при той привлекательности, которую обладает труд сообща, равных между собою людей, на общую пользу, коммунистическое общество не будет чувствовать недостатка в производителях и что эти производители скоро увеличат вдвое и втрое плодородие почвы и дадут промышленности сильный толчок.

В этом наши противники с нами согласны; «но вся опасность, говорят они, лежит в том меньшинстве лентяев, которые не захотят работать, несмотря на прекрасные условия, которые сделают труд приятным, или же будут работать неправильно и беспорядочно. В настоящее время перспектива голода заставляет даже самых упорных не отставать от других; рабочий, не приходящий на работу вовремя, скоро теряет место. Но паршивая овца все стадо портит — и достаточно трёх или четырёх небрежных или упрямых рабочих, чтобы совратить всех

остальных и внести в их среду дух беспорядка и возмущения, который сделает работу невозможной; в конце концов придётся, таким образом, прибегнуть к системе принуждения, которая заставила бы таких зачинщиков стусеваться. И тогда окажется, что единственная система, которая даёт возможность оказывать такое давление, не оскорбляя в то же время чувств рабочего, есть система вознаграждения сообразно исполненному труду. Всякое другое средство потребовало бы постоянного вмешательства власти, которое для свободного человека быстро сделалась бы нестерпимым».

Таково противопоставляемое нам возражение — как мы думаем, во всей его силе.

Оно, как читатель видит, входит в разряд тех доводов, которыми стараются оправдать существование государства, уголовного закона, судей и тюремщиков.

«В виду того, что есть люди — незначительное меньшинство,— которые не хотят подчиняться привычкам общежития», — говорят нам сторонники существования власти, «приходится сохранить государство, как бы дорого оно нам ни обходилось, приходится сохранить и власть, и суд, и тюрьму, несмотря на то, что эти учреждения становятся сами источниками всевозможных новых зол».

Мы могли бы ограничиться тем ответом, который мы много раз уже давали на вопрос о власти вообще: «чтобы избежать возможного зла, — говорим мы — вы прибегаете к средству, которое само по себе составляет зло ещё большее, и которое становится источником тех самых злоупотреблений которые вы хотите устранить. Не забывайте, что именно существование наёмного труда, т.-е. невозможность жить иначе, как продавая свою рабочую силу, создало современный капиталистический строй, недостатки которого вы начинаете признавать».

Мы могли бы заметить, кроме того, что рассуждение наших противников есть в сущности ничто иное, как защита существующего порядка. Современный наёмный труд вовсе не был создан ради устранения неудобств коммунизма. Его происхождение, как и происхождение государства и собственности, совершенно иное. Этого рода аргументы имеют, поэтому, не больше значения чем те, которыми стараются оправдать существование собственности и государства. Мы разберём, тем не менее, это возражение и посмотрим, в какой мере оно может быть справедливо.

Во-первых, если бы даже обществу, основанному на принципе свободного труда, действительно угрожала опасность со стороны тунеядцев, оно могло бы, несомненно, защититься от них, не прибегая ни к власти, ни к наёмному труду. Представим себе группу из нескольких добровольцев, соединившихся для какого-нибудь общего дела и ревностно работающих для него, — за исключением одного члена, часто пренебрегающего своими обязанностями. Неужели они из-за него распустят всю группу, или выберут какого-нибудь председателя, который будет налагать штрафы, или, наконец, заведут, как в французской академии наук, жетоны для раздачи присутствующим членам, по которым потом получают плату? Нет сомнения, что они не сделают ни того, ни другого, а просто скажут как-нибудь тому товарищу, поведение которого грозит благополучному ходу дела: — «Друг мой, мы очень охотно работали бы с тобою вместе, но так как ты часто не исполняешь своих

обязанностей и относишься к делу небрежно, то нам придется расстаться. Ищи себе других товарищей, которые бы примирились с твоей небрежностью!».

Это — такое естественное средство, что к нему и теперь прибегают повсюду, и во всех отраслях промышленности оно успешно конкурирует с всевозможными штрафами, вычетами и мерами надзора. Рабочий может являться на работу в положенный час, но если он работает плохо, если своею небрежностью или другими недостатками он мешает товарищам, если он с ними ссорится,— его выживают из мастерской. Обыкновенно, люди, мало знакомые с делом, думают, что доброкачественность труда на фабриках, поддерживается всеведущим хозяином и его надсмотрщиками; в действительности же, во всяком более или менее сложном учреждении, везде, где товар должен, прежде чем быть законченным, пройти через несколько рук, необходимые условия труда поддерживаются самими рабочими. Вот почему на лучших английских частных заводах так мало надсмотрщиков — несравненно меньше, в общем, чем на заводах французских, и несравненно меньше чем на тех английских заводах, которые принадлежат государству.

Здесь происходит то же самое, что и в деле поддержания в обществе известного нравственного уровня. Обыкновенно думают, что он поддерживается благодаря судьям и полиции, тогда как в действительности он существует, *несмотря* на их присутствие. «Чем больше законов, тем больше преступлений», говорили люди ещё задолго до нас.

И такой приём практикуется не только в промышленных учреждениях, но повсюду и постоянно, и в таких широких размерах, что только одни книгоеды могут выражать сомнения на этот счёт. Когда какая-нибудь железнодорожная компания, входящая в союз нескольких компаний, нарушает свои обязательства, когда она опаздывает со своими поездами и допускает, чтобы товары залёживались на станциях, остальные компании грозят порвать с нею контракт, и этой угрозы обыкновенно бывает достаточно. Обыкновенно думают — или, по крайней мере, говорят — что если в торговых делах люди большею частью исполняют свои обязательства, то это только благодаря боязни суда; но в действительности это вовсе не так. В девяти случаях из десяти, коммерсант, который нарушит данное им слово, вовсе не рискует попасть под суд. В особенно деятельных торговых центрах, как, например, в Лондоне, уже одного того факта, что приходится обращаться в суд, достаточно для огромного большинства купцов, чтобы не иметь больше никаких деловых отношений с человеком, который их принудил к этому.

Почему же то, что делается в настоящее время между товарищами по работе, между купцами и между железнодорожными компаниями, оказалось бы невозможным в обществе, основанном на добровольном труде?

Коммунистическая Община смело могла бы поставить своим членам хотя бы следующее условие: «Мы готовы обеспечить вам пользование нашими домами, магазинами, улицами, средствами передвижения, школами, музеями и т. д., с условием, чтобы от двадцати до сорока пяти или пятидесяти лет вы посвящали бы четыре или пять часов в день труду, необходимому для жизни. Выберите сами, если хотите, те группы, к которым вы желали бы присоединиться, или составьте какую-нибудь новую группу, лишь бы только она взяла на себя производство предметов,

признанных нами необходимыми. Что же касается остального времени, то соединяйтесь с кем угодно, для каких угодно удовольствий, для каких угодно наслаждений искусством или наукой.

«Всё, чего мы требуем от вас, это — тысячу двести или тысячу пятьсот часов в год работы, в одной из групп производящих пищевые продукты, одежду, жилища, или занимающихся общественной гигиеной, средствами передвижения и пр. — взамен чего мы обеспечиваем вам пользование всем, что производится, или уже произведено этими группами. Но если — по каким бы то ни было причинам — ни одна из тысяч групп нашей общины не захочет вас принять, если вы совершенно неспособны ни к какому полезному труду, или же отказываетесь от него — тогда вам остаётся только жить особняком, или так, как живут у нас больные, т.-е. на счёт общины. Если мы окажемся настолько богатыми, чтобы дать вам всё необходимое, то мы с удовольствием сделаем это: вы — человек и имеете право на существование. Но раз вы сами ставите себя в исключительное положение и выходите из рядов своих сограждан, то это, по всей вероятности, отзовется и на ваших отношениях с ними. На вас будут смотреть, как на пришельца из другого мира — из буржуазного общества; разве только какие-нибудь друзья, которые признают вас гением, поспешат снять с вас всякое нравственное обязательство, взяв на себя исполнение вашей доли необходимого для жизни труда.

«Если, наконец, вам всё это не нравится, ищите себе где-нибудь в другом месте иных условий жизни, или найдите себе товарищей и создайте новую общину, основанную на новых началах. Что же касается до нас, то мы предпочитаем наши».

Вот как могло бы поступить коммунистическое общество, если бы число тунеядцев сделалось в нём так велико, что от них пришлось бы защищаться.

#### IV.

Но мы сильно сомневаемся, чтобы эта опасность грозила обществу, действительно основанному на полной свободе личности. В самом деле, несмотря на то поощрение лени, которое создаётся теперь частной собственностью, действительно ленивые люди, если только они не больные, встречаются сравнительно редко.

В рабочей среде очень часто говорится, что буржуа — бездельники: такие действительно бывают, но в сущности они являются исключением. Напротив, в каждом промышленном предприятии всегда можно найти одного или нескольких буржуа, которые очень много работают. Правда, что они в большинстве случаев пользуются своим привилегированным положением для того, чтобы взять на себя наименее тяжёлую работу, и окружают себя такими благоприятными условиями в отношении питания, хорошего воздуха и т. д., что работа не является для них особенно утомительной. Но ведь это — именно те условия труда, которых мы требуем для всех рабочих без исключения. Правда, что благодаря их привилегированному положению, богатые часто занимаются трудом совершенно бесполезным или даже вредным для общества. Императоры, министры, директора

департаментов, директора различных фабрик, купцы, банкиры и пр. — все они принуждают себя проделывать в течение нескольких часов в день работу, которую они находят более или менее неприятной: каждый из них предпочитает свои часы досуга этому обязательному делу. И если в большинстве случаев эта работа оказывается вредной, то ведь для них она не делается от этого менее утомительной. Если буржуазии удалось победить помещичье дворянство, если ей до сих пор удаётся властвовать над массой народа, то этим она обязана именно той энергии, с которой она делает (сознательно или бессознательно) своё вредное дело и защищает своё привилегированное положение. Если бы буржуа были действительно бездельники, то они давно уже перестали бы существовать, давно исчезли бы, как исчезли дворянчики в камзолах и на красных каблуках.

В обществе, которое потребовало бы от них всего четыре или пять часов в день полезного, приятного и гигиенично обставленного труда, они, теперешние буржуа, несомненно исполнили бы это, и несомненно *не* стали бы работать в таких условиях, в которых благодаря им, происходит работа теперь. Если бы Пастеру или Тиндалю довелось провести хотя бы пять часов на чистке водосточных труб, то они наверное нашли бы способ изменить обстановку этой работы так, чтобы она была несколько не неприятнее работы в химической или бактериологической лаборатории.

Что же касается лениости огромного большинства рабочих, об этом могут говорить только политико-экономы или филантропы. Поговорите об этом с каким-нибудь умным предпринимателем, — и он вам скажет, что если бы рабочие забрали себе в голову лениться, то оставалось бы только закрыть все фабрики. Никакие строгие меры, никакая система шпионства и штрафов не могли бы помочь делу. Нужно было видеть в какой ужас пришли английские промышленники, когда некоторые агитаторы начали проповедовать теорию *go sanny*, т.-е. «за. плохую плату — плохой труд; работайте себе полегоньку, не утруждайте себя и портите всё, что только возможно». «Это — деморализация рабочего, это — убийство нашей промышленности!» кричали те самые люди, которые раньше гремели против безнравственности рабочих и дурного качества их труда. Если бы рабочий в самом деле был тем, чем изображают его экономисты, т.-е. лентяем, которому нужно постоянно грозить лишением работы, то какой смысл имело бы это самое слово «деморализация».

Итак, когда говорят о возможности тунеядства, нужно всегда иметь в виду, что речь идёт лишь о меньшинстве всего общества. И прежде чем заниматься изданием законов для этого меньшинства, не лучше ли выяснить себе самое его происхождение?

Всякий человек, умеющий наблюдать, очень хорошо знает, что часто ребёнок, которого в школе считают ленивым, просто плохо понимает то, что ему плохо объясняют. Очень часто также это зависит от анемии мозга — результата бедности и нездорового воспитания. Иной мальчик, ленивый в изучении латыни и греческого языка, работал бы, может быть, как вол, если бы его учили естественным наукам, в особенности при посредстве ручного труда. Иная девочка, считающаяся неспособной к математике, становится самой лучшей ученицей по математике, в

своём классе, если ей удастся напасть на кого-нибудь, кто сумел схватить и объяснить ей то, что казалось ей непонятным в основах арифметики. Иной рабочий, небрежный к своему фабричному труду, копает свой садик с самого рассвета и до поздних сумерек, когда он может работать на воле, на открытом воздухе.

Кто-то сказал, что пыль — это ничто иное, как частицы вещества, попавшие не на своё место. То же определение приложимо в девяти случаях из десяти и к тем людям, которых называют ленивыми. Это — люди, попавшие на такой путь, который не соответствует ни их характеру, ни их способностям. Читая биографии великих людей, положительно удивляешься, сколько среди них оказывается «лентяев». Они были «лентяями», пока не попали на свой настоящий путь, и, наоборот, сделались крайне трудолюбивыми с тех пор. Дарвин, Стефенсон и многие другие принадлежали к числу таких лентяев.

Очень часто лентяем является человек, которому противно выделять всю жизнь какую-нибудь восемнадцатую долю булавки, или сотую долю карманных часов, в то время, как он чувствует в себе избыток энергии, которую хотел бы приложить в иной области. Часто бывает также, что — человек, которого возмущает мысль, что он должен оставаться всю жизнь прикованным к своему станку и работать для того, чтобы его хозяин мог пользоваться всевозможными удовольствиями, когда он знает, что он нисколько не глупее его, и что единственная его вина заключается в том, что он родился на свет не в замке, а в хижине.

Очень значительное число «лентяев», наконец, потому лентяи, что не знают хорошо того ремесла, которым они должны зарабатывать себе пропитание. Они видят всё несовершенство выходящей из их рук работы, тщетно стараются сделать её лучше и, убедившись, что им это никогда не удастся, благодаря приобретённым уже раньше плохим приёмам в работе, начинают ненавидеть своё ремесло; а так как они не знают никакого другого, — то с ним вместе и всякий труд вообще. Множество рабочих и неудачников артистов находится именно в таком положении.

Напротив того, человек, который с детства привык *хорошо* играть на рояли, *хорошо* владеть рубанком, резцом, кистью или напильником, так, чтобы чувствовать, что то, что выходит из его рук, *красиво*, никогда не бросит ни рояли, ни резца, ни напильника. Он будет находить в своей работе удовольствие, и она не будет казаться ему утомительной — если, конечно, не будут заставлять его работать до полного утомления.

Таким образом, под общим названием *лени*, обозначают, в сущности, целый ряд последствий разнообразных причин, из которых каждая могла бы сделаться источником пользы для общества, вместо того, чтобы быть источником зла. Как и в вопросе о преступности, как вообще во всех вопросах, касающихся человеческих способностей, здесь сваливают в кучу явления, не имеющие между собою ничего общего. Люди употребляют слова «лень» и «преступление», не давши себе труда разобраться в их причинах, а затем спешат наказывать, не задав себе вопроса о том, не составляет ли самое наказание именно поощрения этой «лени» или этого «преступления»<sup>[13]</sup>.

Вот почему, если бы в свободном обществе начало возрастать число тунеядцев,

то общество, вероятно, постаралось бы прежде всего отыскать причины их лени и попыталось бы их устранить, прежде чем прибегать к каким бы то ни было карательным мерам. Вот перед нами, например, простой случай малокровия, — как тот, о котором мы говорили выше. Прежде чем набивать голову ребёнка знаниями, дайте ему крови; укрепите его, а чтобы он не терял времени, отправьтесь с ним в деревню или куда-нибудь на берег моря. Там начните учить его геометрии на открытом воздухе — не по книжкам, а измеряя с ним вместе расстояние до ближайшей скалы; учите естественной истории, собирая цветы и ловя рыбу, физике — помогая строить ту лодку, на которой он поедет на рыбную ловлю. Но прежде всего, — не набивайте его мозг пустыми фразами и древними языками: не делайте из него «лентяя!»

Другой ребёнок, например, не привык к порядку и правильности в работе; против этого есть одно средство, — чтобы дети сами вырабатывали друг в друге эти привычки: чтобы сама жизнь школы помогала этому. Впоследствии, когда этому ребёнку придётся работать в лаборатории или мастерской — вообще в тесном пространстве, где нужно иметь дело с разнообразными приборами и инструментами — это приучит его к известным приёмам порядка. Только не делайте вы из него сами беспорядочного человека вашей школой, в которой порядок выражается лишь в правильном расположении скамеек, а само преподавание представляет собою настоящий хаос, который никому не может внушить любви к гармонии, последовательности и методичности в труде.

Неужели вы не видите, что с вашими методами преподавания, выработанными министерством сразу для миллионов учеников, представляющих собою столько же миллионов различных способностей, вы только навязываете им всем систему, годную для посредственностей, и созданную посредственностями. Ваша школа становится школой лени, точно также, как ваши тюрьмы представляют школы преступности. Сделайте же школу свободной, уничтожьте все учёные степени, обратитесь к добровольцам в деле преподавания — сделайте всё это, прежде чем изобретать против лени законы, которые послужат только к тому, чтобы заключить лень в установленные рамки.

Дайте рабочему, которому противно выделять всю свою жизнь ничтожную часть какой-нибудь булавки, которого тоска берёт около своей машины и в конце концов становится ненавистью, — дайте ему возможность обрабатывать землю, рубить деревья в лесу, бороться с бурей на море, нестись в пространстве на локомотиве. Но не делайте сами из него лентяя, заставляя его всю свою жизнь наблюдать за машиной, оттачивающей какой-нибудь кончик винта или проделывающей ушко в иголке!

Уничтожьте сперва причины, которые создают лентяев — поверьте, что людей, действительно ненавидящих труд, особенно труд добровольный, почти не останется, и что для решения вопроса о них совершенно не нужно будет ни вашего арсенала законов, ни вашей задельной платы с угрозой голода.



# Наёмный труд в коллективистском обществе.

## I.

В своих планах перестройки общества, коллективисты впадают, по нашему мнению, в двоякую ошибку: они хотят уничтожения капиталистического строя, и вместе с тем стремятся сохранить те два учреждения, которые составляют самую его подкладку: представительное правление и наёмный труд.

Что касается так называемого представительного правления, то нам часто приходилось уже говорить о нём<sup>[14]</sup>. Для нас остаётся непонятным, как могут умные люди — а в таковых нет недостатка в коллективистской партии — оставаться сторонниками национальных и городских парламентов после всех тех уроков, которые нам дала в этом отношении история, — и во Франции, и в Англии, и в Германии, и в Швейцарии, и в Соединённых Штатах.

Мы видим, что повсюду парламентаризм приходит в упадок, и что повсюду поднимается критика — не только применений этой системы, но и *самых основных её положений*; каким же образом могут социалисты-революционеры защищать этот, осуждённый на смерть, образ правления?

Выработанное буржуазией, с одной стороны — для противодействия королевской власти, а с другой — с целью расширения и упрочения своего господства над рабочими, представительное правление является в истории политической формой, по преимуществу буржуазного строя. Защитники этой системы никогда и не утверждали серьёзно, чтобы парламент или городской совет действительно *представлял* собою нацию или город: наиболее умные из них знают, что это невозможно. Представительное правление просто послужило буржуазии для того, чтобы воздвигнуть плотину против захватов королевской власти — не давая вместе с тем, свободы народу. Но по мере того, как народ всё лучше сознаёт свои интересы, а вместе с тем растёт и разнообразие самих интересов, эта система оказывается негодной. Потому-то демократы всех стран и занимаются теперь тщетными поисками за различными подправами: пробуют в Швейцарии всенародное голосование законов (*referendum*), и находят, что оно тоже никуда не годится; говорят в Бельгии о пропорциональном представительстве, или о представительстве меньшинства, т.-е. опять-таки о разных парламентских утопиях, — одним словом, ищут того, чего найти нельзя. В конце концов им приходится, всё-таки, признаться, что они пошли по ложному пути, и вера в представительное правление всё более и более подрывается в народе.

То же самое происходит и с наёмным, трудом. Можно ли, в самом деле, после того, как мы провозгласили необходимость уничтожения частной собственности и коллективное владение орудиями труда, — требовать в той или иной форме сохранения системы наёмного труда? А между тем, проповедуя рабочие чеки, коллективисты поступают именно так.

Что эту систему предлагали английские социалисты в начале века (Роберт

Оуэн) — вполне понятно: они в то время хотели *примирить труд с капиталом* и отказывались от всякой мысли нарушить насильственным путём собственность капиталистов. Понятно и то, что эту мысль принял впоследствии Прудон: в своей системе взаимного кредита он стремился сделать капитал менее вредным, при сохранении частной собственности, которую он ненавидел в душе, но считал необходимой гарантией для личности против государства.

Что рабочие чеки признают и более или менее буржуазные экономисты — это также не удивительно. Для них безразлично, будет ли получать рабочий свою плату в этой форме, или в форме денег с изображением республики или империи. Им нужно спасти от грозящего им погрома частную собственность на жилые дома, на землю, на фабрики, во всяком случае — собственность на жилые дома и на капитал, нужный для фабричного производства. А для этой цели введение рабочих чеков оказалось бы как нельзя более подходящим.

Лишь бы только такой чек можно было обменять на всякие драгоценности — и всякий хозяин дома охотно примет его в уплату за квартиру. А до тех пор, пока жилые дома, земля и заводы будут принадлежать отдельным собственникам, рабочему поневоле придётся так или иначе платить им, чтобы иметь возможность работать в их полях, или на их заводах, и жить в их домах.

Но — как можно защищать рабочие чеки — эту новую форму наёмного труда — раз мы установили, что дома, поля и заводы не составляют больше частной собственности, а принадлежат общине или всей нации? Этого мы не понимаем.

## II.

Присмотримся ближе к этому способу вознаграждения труда, проповедуемому французскими, немецкими, английскими и итальянскими коллективистами<sup>[15]</sup>.

Он сводится приблизительно к следующему: все работают — в полях, на заводах, в школах, в больницах и т. д. Продолжительность рабочего дня устанавливается государством, которому принадлежит земля, заводы, пути сообщения и проч. Каждый рабочий день вознаграждается *рабочим чеком*, на котором значится, скажем: «восемь часов труда». За этот чек рабочий может приобрести в магазинах, принадлежащих государству или различным корпорациям, всевозможные товары. Этот чек может также дробиться, как деньги, так что, например, можно купить на рабочий час мяса, на десять минут спичек или на полчаса табаку. Вместо того, чтобы говорить: «дайте мне на пять копеек мыла», после коллективистской революции станут говорить: «дайте мне на пять минут мыла».

Большинство коллективистов, кроме того, остаётся верным разделению, установленному буржуазными экономистами (и Марксом) между трудом *сложным*, требующим предварительного обучения, и трудом *простым*, и говорит нам, что труд *сложный*, т.-е. профессиональный, *должен* оплачиваться в несколько раз больше, чем труд *простой*. Так, например, один час труда врача будет считаться соответствующим двум или трём часам больничной сиделки, или трём часам труда

землекопа. «Профессиональный или квалифицированный труд будет иметь ценность в несколько раз большую, чем труд простой», говорит коллективист Гренлунд, потому что этот род труда требует более или менее долгого обучения<sup>[16]</sup>.

Другие коллективисты, — например французские марксисты, — не признают этого различия и провозглашают «равенство заработной платы». Врач, учитель, профессор — будут получать (в виде рабочих чеков) такое же вознаграждение, как и землекоп. Восемь часов, проведённые за осмотром больных в больнице, будут стоить столько же, сколько восемь часов работы землекопа, или работа на фабрике.

Некоторые делают ещё одну уступку и допускают, что работа неприятная или вредная для здоровья — например, работа в сточных трубах, — должна оцениваться выше, чем труд приятный. Час работы в сточных трубах соответствовал бы, например, двум часам работы профессора.

Прибавим, наконец, что некоторые коллективисты принимают также вознаграждение по группам, по корпорациям. Артель литейщиков сказала бы например: «Вот сто тонн стали. Когда мы работали над ней, чтобы добыть руду, выливать железо и т. д., нас было сто рабочих, и мы употребили на это десять дней. А так как каждый рабочий день включает в себе восемь часов, то это составляет восемь тысяч рабочих часов для получения ста тонн стали, т.-е. восемьдесят часов на тонну». Тогда государство выдало бы им восемь тысяч рабочих чеков, по одному часу каждый, и эти восемь тысяч чеков были бы затем распределены, по их усмотрению, между всеми работающими на данном заводе.

С своей стороны сто углекопов употребили, например, двадцать дней на добывание восьми тысяч тонн угля; поэтому тонна угля стоила бы два часа, и шестнадцать тысяч чеков, по часу каждый, полученные всей артелью, были бы распределены между её членами по их собственной оценке.

Если бы углекопы стали протестовать и сказали бы, что тонна стали должна стоить всего шестьдесят часов труда, вместо восьмидесяти, или если бы врач захотел, чтобы за час его труда платили как за два часа труда сиделки, то тогда в дело вмешалось бы государство и разрешило бы их разногласия.

Такова, в немногих словах, организация, которую коллективисты хотели бы установить после социальной революции. Как видно из сказанного, их принцип — коллективная собственность на орудия труда и — личное вознаграждение каждого, сообразно потраченному им на производство времени, принимая вместе с тем во внимание и производительность его труда. Что касается до политического строя, рекомендуемого коллективистами, они принимают парламентаризм, видоизменённый введением определённого, обязательного полномочия депутатам (*mandat impératif*), и *referendum*'а, т.-е. всенародного голосования (плебисцита), в котором каждый отвечает на поставленный вопрос *да* или *нет*.

Заметим, прежде всего, что этот порядок кажется нам совершенно неосуществимым.

Коллективисты начинают с провозглашения революционного принципа — уничтожения частной собственности, — затем сейчас же отрицают его, оставляя без

изменения такой способ организации производства и потребления, который сложился именно вследствие существования частной собственности на орудия производства.

Они провозглашают революционный принцип — и вместе с тем не замечают последствий, к которым он неизбежно должен привести. Они забывают, что уже самый факт уничтожения частной собственности на орудия труда (землю, фабрики, пути сообщения, капиталы и проч.) должен заставить общество выступить на совершенно новый путь; что он должен вызвать полный переворот во всём производстве — как в его целях, так и в его средствах; что как только земля, машины и всё остальное станет считаться общею собственностью, все ежедневные отношения между людьми должны будут подвергнуться глубокому существенному изменению.

«Пусть не будет частной собственности», говорят они, и тотчас же стараются удержать частную собственность в её ежедневных проявлениях. «В отношении производства вы будете составлять Коммунистическую Общину: поля, орудия, машины, всё, что произведено было до сих пор, фабрики, железные дороги, гавани, копи и т. д. всё это будет ваше, общее. Относительно доли участия каждого в этой общей собственности не будет подниматься никакого вопроса.

«Но лишь только дело дойдёт до вознаграждения за труд, вы, на другой же день начните оспаривать друг у друга долю участия каждого из вас в производстве новых машин, в разработке новых копей. Старайтесь в точности взвесить часть, приходящуюся на долю каждого. Считайте минуты вашей работы и ревниво следите за тем, чтобы минута труда вашего соседа не могла купить большее количество продуктов, чем ваша минута.

«А так как часами ничего измерить нельзя, потому что на одной фабрике рабочий может смотреть одновременно за шестью ткацкими станками, тогда как на другой он может смотреть только за двумя, то вы начните взвешивать также потраченную каждым из вас мышечную силу и умственную и нервную энергию. В точности высчитывайте годы, употреблённые на обучение каждого работника, чтобы определить долю каждого в будущем производстве — и всё это после того, как вы сами же заявите, что в производстве *прежних лет* вы совершенно не намерены принимать во внимание, каково было участие того или другого из вас!»

Нам кажется очевидным, что никакое общество не может сложиться на основании двух, совершенно противоположных, постоянно противоречащих друг другу начал. Страна или община, которая ввела бы у себя подобную организацию, очень скоро была бы вынуждена или вернуться к частной собственности, или превратиться в общество коммунистическое.

### III.

Мы уже видели, что некоторые коллективисты требуют установления различия между трудом *сложным* и трудом *простым*. Они считают, что час труда инженера, архитектора или врача должен считаться за два часа труда кузнеца, каменщика или

больничной сиделки, и что то же различие должно быть установлено, с одной стороны — между всеми ремёслами, требующими более или менее долгого обучения, а с другой — трудом простых подёнщиков.

Но установить такое различие значит сохранить целиком неравенство, существующее в современном обществе. Это значит — провести заранее черту между рабочими и теми, которые претендуют на управление ими. Это значит — разделить общество на два ясно обособленные класса — аристократию знания и стоящую под нею толпу с мозолистыми руками, — два класса из которых один будет служить другому, будет работать для того, чтобы кормить и одевать людей, которые конечно воспользуются полученным таким образом досугом, чтобы учиться господствовать над теми, кто его кормит. Мало того: это значит взять одну из самых характерных черт современного буржуазного общества и усилить её авторитетом социальной революции; это значит — возвести в основное начало то зло, на которое мы нападаем в старом, разрушающемся обществе.

Мы заранее знаем, что нам ответят. Нам станут говорить о «научном социализме»; будут ссылаться на буржуазных экономистов — а также и на Маркса, чтобы доказать, что установленная градация заработной платы имеет разумные причины, потому что «рабочая сила» инженера стоила обществу больше, чем «рабочая сила» землекопа. И в самом деле, разве экономисты не старались доказать нам, что если инженеру платят в двадцать раз больше чем землекопу, то это происходит только потому, что издержки, «необходимые» для приготовления инженера, больше тех, которые требуются для приготовления землекопа? И разве Маркс не говорил, что то же самое различие должно логически существовать и между различными отраслями ручного труда — раз труд становится товаром? Он должен был неизбежно прийти к этому выводу, раз только он принял теорию ценности Рикардо и утверждал, вслед за ним, что товары обмениваются пропорционально общественно необходимому для производства их труду<sup>[17]</sup>.

Но мы знаем, как стоит дело в действительности. Мы знаем, что если в настоящее время инженер, учёный или врач получают в десять или в сто раз больше, чем рабочий, и что если ткач получает втрое больше, чем крестьянин и в десять раз больше, чем работница на спичечной фабрике, то это зависит вовсе не от «издержек на их производство», а от монополии на знание или в пользу промышленности. Инженер, учёный и врач просто эксплуатируют известный капитал — свой диплом, — подобно тому, как заводчик эксплуатирует свой завод, или как помещик-дворянин эксплуатирует свой дворянский титул.

Что же касается собственника завода, который платит инженеру в двадцать раз больше, чем рабочему, то он поступает так вовсе не ради оценки «издержек производства», а из простого расчёта. Если инженер может сберечь ему на производстве тридцать тысяч рублей в год, он платит ему пять тысяч; если он найдёт такого надсмотрщика за рабочими, который ловко сумеет прижимать их и поможет сэкономить три тысячи рублей на плате за труд, хозяин охотно даст надсмотрщику восемьсот рублей в год. Он охотно затратит лишних несколько сот рублей, чтобы выгадать себе тысячи, и в этом существенная черта капиталистического строя. То же самое можно сказать и о различиях между разными

ручными ремёслами.

Как же можно говорить в таком случае об «издержках производства», будто бы определяющих стоимость рабочей силы? Неужели студент, весело проведший свою молодость в университете имеет *право* на плату в десять раз большую, чем сын углекопа, который с одиннадцати лет чахнул в угольной шахте? И неужели ткач имеет право на заработок в три или четыре раза больший, чем заработок крестьянина и крестьянки? Издержки, необходимые на производство ткача, вовсе не в три или четыре раза больше издержек на производство крестьянина: ткач просто пользуется теми выгодными условиями, в которые поставлена европейская промышленность по отношению к странам земледельческим, в которых промышленность ещё не развита.

Никто никогда ещё не вычислил этих *издержек производства*; и если, вообще говоря, тунеядец стоит обществу больше, чем рабочий, то, когда мы сравним сильного подёнщика с ремесленником, то ещё вопрос, не окажется ли, если принять во внимание все условия (смертность детей рабочих, изнуряющее их малокровие и преждевременную смерть), что первый обходится обществу дороже, чем второй.

Можно ли, например, допустить, что те пятьдесят копеек, которые получает в день парижская работница, или шесть пенсов (двадцать четыре копейки), зарабатываемых в день лондонскою швеёю, или тот рубль, который платят в день крестьянину, представляют собою «издержки производства работницы, швеи и крестьянина?» Мы отлично знаем, что человеку часто приходится работать и за ещё меньшую плату, но мы знаем также, что при нашем великолепном общественном устройстве, без этой ничтожной платы работник и работница умерли бы с голоду.

Мы думаем, поэтому, что различные ступени в заработной плате представляют собою сложный результат целого ряда условий: налогов, государственной опеки, капиталистического захвата, монополии — одним словом, государства и капитала. Потому-то мы и говорим, что все теории относительно этой шкалы в заработной плате изобретены были уже после её установления, чтобы *оправдать* существующую несправедливость, и что поэтому нам совершенно не нужно принимать в расчёт те тонкие теории, которыми её стараются оправдать.

Нам заметят, вероятно, что коллективистская лестница в заработной плате будет, как бы то ни было, некоторым шагом вперёд. «Пусть лучше некоторые разряды рабочих — скажут нам — получают плату вдвое или втрое больше других разрядов, чем чтобы министры получали в один день столько, сколько рабочий не заработает и в год. Это во всяком случае шаг вперёд в смысле равенства».

Мы думаем, что это будет, наоборот, шаг назад. Ввести в *новое* общество различие между трудом простым и трудом профессиональным, значило бы, как мы уже говорили, узаконить Революцию и возвести в основное начало тот грубый факт, которому мы подчиняемся теперь, но который мы тем не менее находим несправедливым. Это значило бы — поступить подобно тем, которые 4-го августа 1789 года провозгласили с громкими фразами отмену феодальных прав, а 8-го августа узаконили эти самые права, заставив крестьян выкупать их у помещиков и поставив последних под охрану Революции. Это значило бы поступить так, как

поступило русское правительство, которое, в день освобождения крестьян, объявило, что земля будет принадлежать помещикам, тогда как раньше считалось злоупотреблением распоряжаться наделами крепостных крестьян.

Или же, возьмём другой известный пример. Когда в 1871 году Парижская Коммуна решила платить членам своего Совета по пятнадцати франков (около пяти рублей) в день, тогда как рабочие, дравшиеся на укреплениях, получали всего тридцать су (около пятидесяти копеек), это решение приветствовали как высшее проявление демократического равенства. В действительности же Коммуна только подтвердила старое неравенство между чиновником и солдатом, между управляющим и управляемым. Со стороны какого-нибудь парламента такая мера могла бы показаться очень прекрасною, но для Коммуны это было изменой своему революционному принципу, а следовательно осуждением его. Не наёмную плату, на которую, между прочим, и прожить было невозможно даже рабочей семье, должна была платить Коммуна тем рабочим, которые сражались за неё. Она должна была счесть своим первым, святым долгом, обеспечить существование своих борцов и их семей.

В современном обществе, когда мы видим, что министр заставляет платить себе по тридцати тысяч рублей в год, тогда как рабочий должен довольствоваться тремястами рублями, или даже меньше; когда мы видим, что надсмотрщику над рабочими платят вдвое или втрое больше чем рабочему, и что даже среди самих рабочих существуют разные платы — от трёх или четырёх рублей в день до двенадцати копеек, зарабатываемых крестьянкой, — мы негодуем. И негодуем мы не только на высокое жалованье министра, но и на такое различие в зарплате рабочего и крестьянки. Мы говорим: «Пусть привилегии, связанные с образованием, исчезнут так же, как и привилегии, связанные с происхождением!» Рабочие потому именно и становятся революционерами, что всякие привилегии их возмущают.

Но если они возмущают нас в современном обществе, — то как же сможем мы терпеть их в обществе, которое начнёт своё существование с провозглашения равенства?

Вот почему некоторые коллективисты, понимающие, что ступени в заработной плате не смогут удержаться в обществе, проникнутом духом Революции, спешат провозгласить, что заработная плата будет для всех одинакова. Но здесь они наталкиваются на новое затруднение, которое делает из их равенства заработной платы такую же неосуществимую утопию, как и ступенчатая плата, предлагаемая другими.

Общество, которое овладеет всем общественным богатством и громко провозгласит, что все имеют на него право, какова бы ни была в прошлом доля участия каждого в создании этого богатства, — такое общество должно будет отказаться от всякой мысли о наёмной плате, в какой бы форме она ни представлялась: в виде ли денег, или в виде рабочих чеков.

«Каждому — сообразно его труду», говорят коллективисты, т.-е. другими словами — сообразно его доле в услугах, оказываемых обществу. И этот принцип нам предлагают приложить на практике, после того, как Революция обратит в общую собственность орудия труда и всё необходимое для производства!

Если бы Социальная Революция действительно провозгласила это начало, она этим самым поставила бы преграду дальнейшему развитию человечества и оставила бы нерешённой ту громаднейшую общественную задачу, которую мы получили в наследство от прежних веков.

В самом деле, в таком обществе, как наше, где мы видим, что чем больше человек работает, тем меньше он получает, — такое начало может казаться, с первого взгляда, выражением справедливости. В действительности же оно только освещает всю несправедливость прошлых времён. Наёмный труд начал своё существование именно с этого принципа — «каждому по его трудам», — и привёл он нас понемногу к самому явному неравенству и ко всем возмутительным явлениям современного общества. С того дня, когда люди начали мерить услуги, оказываемые обществу, платя за них деньгами или какой бы то ни было другой формой заработной платы, — с того дня, когда было заявлено, что каждый будет получать столько, сколько он сможет заставить себе платить за свои услуги — с этого дня вся история капиталистического общества была (при содействии государства) написана заранее. Она вся целиком находилась в зародыше в этом основном начале.

Неужели же мы должны теперь опять вернуться к этому исходному пункту и вновь пройти через то же развитие? Наши теоретики стремятся к этому, но, к счастью, это невозможно. Как мы уже видели, революция *должна* будет обратиться к коммунизму; иначе она будет потоплена в крови, и её придётся начинать сызнова.

Услуги, оказываемые обществу — будь то работа на фабрике или в поле, или услуги нравственного характера — *не могут быть оценены в монетных единицах*. Беря мануфактурное производство, точной меры ценности — ни того, что неправильно называют меновой ценностью, ни ценности, рассматриваемой с точки зрения полезности, — нет возможности установить. Если мы видим двух человек, которые в течение целого ряда лет работают по пяти часов в день на общую пользу в различных, одинаково им нравящихся областях, то мы можем сказать, что их труд приблизительно равноценен; но дробить этого труда нельзя; нельзя сказать, что продукт каждого дня, каждого часа, каждой минуты труда одного из них равноценен продукту минуты, часа или дня другого.

Можно сказать, в общем, что человек, который всю свою жизнь лишал себя досуга в течение десяти часов в день, дал обществу больше, чем тот, который отнимал у себя всего пять часов, или не отнимал вовсе ничего. Но нельзя взять продукт, который он произвёл в течение двух часов, и сказать, что этот продукт стоит вдвое больше, чем продукт одного часа труда другого человека, и вознаграждать труд обоих соответственно этому расчёту. Это значило бы закрыть глаза на всю сложность промышленности, земледелия и вообще всей жизни современного общества; это значило бы не замечать, до какой степени всякий труд каждой отдельной личности является результатом всего прошедшего и настоящего труда всего общества. Это значило бы думать, что мы живём в каменном веке, тогда



как на самом деле мы живём в веке стали.

Войдите, например, в угольную копь и посмотрите на рабочего, стоящего возле огромной машины, заставляющей ходить вверх и вниз клетку, в которой поднимают из шахты уголь. В руках у него рычаг, который останавливает машину, или заставляет её действовать в обратную сторону: стоит ему только двинуть рычаг, клетка мгновенно изменяет направление своего движения, взлетая вверх или опускаясь вглубь с головокружительной быстротой. Весь внимание, он с напряжением следит глазами за указателем, который показывает ему, в каком месте находится в каждую данную минуту шахтовая клетка; и как только указатель достиг известного уровня, он мгновенно останавливает движение машины, ни на один аршин ниже или выше требуемого уровня. А как только из клетки выкатят вагонеты, полные угля, и втолкнут на их место пустые, он вновь поворачивает рычаг, не теряя ни секунды — и вновь клетка летит вглубь шахты.

В течение восьми или десяти часов он находится в этом состоянии усиленно напряжённого внимания. Если бы ум его отвлёкся на полминуты от указателя, клетка влетела бы в потолок, дробя колёса и давя людей, и вся работа в руднике была бы остановлена. Стоит ему потерять три секунды при каждом повороте рычага — и количество добываемого угля сократится (в усовершенствованных современных копиях) на двадцать пять или на пятьдесят тонн в день.

В таком случае, — признаем ли мы его самым полезным человеком в руднике? Или, может быть, того, кто подаёт ему снизу сигнал к поднятию клетки? или же того углекопа, который ежеминутно рискует своей жизнью в глубине копи и рано или поздно будет убит рудничным газом? Или, может быть, инженера, который, вследствие простой ошибки в сложении при своих вычислениях, мог бы потерять угольный пласт и повести штольню в пустом камне? Или, наконец, хозяина, который вложил в это дело всё своё имущество и вопреки всем советам говорил, может быть, когда рыли шахту: «Ройте здесь, ройте глубже, и мы найдём прекрасный уголь? Или — какого-нибудь старика, углекопа, который уговаривал хозяина продолжать дело?

Все, работающие в этой копи содействуют, по мере своих сил, своей энергии, своих знаний, своего ума, своего умения, добыванию угля; и мы действительно можем сказать, что все они имеют право жить и удовлетворять свои потребности (и даже свои фантазии, как только необходимое для всех будет обеспечено). Но каким образом можем мы оценить деньгами, платой, участие каждого из них?

Да и самый уголь, который они добывают, — разве это *их* продукт, добытый ими одними? Разве он не продукт также и тех людей, которые построили железную дорогу, ведущую к копи, и те другие дороги, которые, как лучи, расходятся от неё ко всем станциям? Разве он также не дело тех, кто пахал и засеивал поля, рубил деревья в лесу, строил машины, в которых будет гореть этот уголь? и так далее без конца!

Между делом одного и делом другого не может быть установлено никакого различия. Если мы будем мерить их заслуги по их результатам, то это приведёт нас к нелепости, и то же самое получится, если мы станем дробить их заслуги и мерить

их часами труда.

Остаётся только одно: поставить *потребности* людей выше их дел, и признать сначала право на жизнь, а затем и право на довольство, за всеми теми, кто принимает какое бы то ни было участие в производстве.

Возьмите какую хотите другую отрасль человеческой деятельности, возьмите всю совокупность жизненных проявлений и скажите: кто из нас имеет право претендовать на большее вознаграждение: врач, который угадал болезнь, или сиделка, которая обеспечила выздоровление своим тщательным уходом? Изобретатель ли первой паровой машины, или тот мальчик, которому в один прекрасный день надоело тянуть верёвку, служившую прежде для открывания клапана, выпускавшего пар под поршень, и который он догадался раз привязать известным образом к коромыслу машины, а сам побежал играть с товарищами, не подозревая, что он открыл этим самым необходимую часть всякой современной паровой машины — механический клапан? Изобретатель ли локомотива или тот ньюкаслский рабочий, который подал мысль заменить деревянными шпалами те камни, на которые раньше клали рельсы и которые, вследствие отсутствия в них упругости, заставляли поезда всё время сходить с рельсов? Машинист ли на локомотиве, или тот человек, который подаёт сигнал, чтобы остановить поезд, или же стрелочник, открывающий путь?

Кому мы обязаны существованием телеграфного сообщения через Атлантический океан? Тому ли инженеру, который упорно утверждал, что проволочный канат будет передавать депеши, в то время как почти все самые учёные специалисты по электричеству заявляли, что это невозможно? Тому ли учёному, Мори, который посоветовал заменить толстые канаты тонкими, — не толще обыкновенной трости? Или, наконец, тем, неизвестно откуда явившимся добровольцам, которые проводили дни и ночи на палубе Грейт Истерна и тщательно рассматривали каждый фут каната, вынимая из него гвозди, которые втыкались кем-то (говорят — акционерами морских компаний) в изолирующий слой, с целью сделать канат негодным к употреблению?

А в более широкой области — в области настоящей человеческой жизни, с её радостями, её горестями и её случайностями — разве каждому из нас не случилось встретиться с человеком, который оказал ему в жизни такую услугу, что самая мысль о денежной её оценке показалась бы оскорбительной? Иногда эта услуга ничто иное, как — просто слово, сказанное вовремя, иногда же это — целые месяцы и годы самоотверженной преданности. Неужели же и эти «неоценимые» услуги мы тоже станем расценивать в рабочих чеках?

«Каждому — по его делам!» Но человеческие общества не могли бы просуществовать и двух поколений подряд, если бы каждый не давал иногда другим гораздо больше, чем он получит от них в виде денег, рабочих чеков или каких-нибудь наград. Человечеству пришёл бы конец, если бы мать не давала свою жизнь для сохранения жизни своих детей, если бы каждый человек не давал, хоть иногда, не считая, если бы он не давал в особенности именно тогда, когда он не ждёт никакого вознаграждения.

И если буржуазное общество гибнет, если мы находимся в настоящую минуту в тупике, из которого мы не можем выйти иначе, как разрушая топором и огнём учреждения прошлого, то это происходит именно оттого, что мы слишком много считали; оттого, что мы приучили себя *давать* только с целью *получить*; оттого, что мы захотели сделать из общества коммерческую компанию, основанную на приходе и расходе.

Коллективисты, впрочем, знают это и сами. Они смутно понимают, что никакое общество не могло бы просуществовать, если бы оно строго провело до конца своё правило: «каждому по его делам»; они тоже понимают, что *потребности* личности — мы не говорим о капризах — не всегда совпадают с её *делами*. Так, например, Де Пап пишет:

«Этот чисто индивидуалистический принцип будет, впрочем, *смягчаться* общественным вмешательством в дело воспитания детей и молодых людей (включая сюда пищу и всё их содержание) и в дело общественной организации помощи калекам и больным, пенсий для старых рабочих и т. п.».

Они понимают, по-видимому, что у сорокалетнего человека, отца троих детей, больше потребностей, чем у двадцатилетнего юноши; что женщина, которая кормит ребёнка и проводит около него бессонные ночи, не может делать столько же *дел*, как человек, спокойно выспавшийся. Они понимают, по-видимому, что люди — мужчины и женщины — изнурённые, может быть, на службе обществу, могут оказаться неспособными сделать столько же «дел», как те, которые проводили время спокойно и получали свои «чеки», занимая привилегированное положение государственных статистиков.

Поэтому они спешат смягчить свой принцип. «Конечно», говорят они, «общество возьмётся кормить и воспитывать детей, будет помогать старикам и больным! Конечно, *потребности* послужат в данном случае мерилom издержек, которые возьмёт на себя общество, чтобы смягчить своё основное правило: «каждому по его делам».

Одним словом, получается опять-таки благотворительность, всё та же христианская благотворительность но на этот раз организованная государством! Стоит только усовершенствовать Воспитательные Дома и организовать страхование от старости и болезни — и основной принцип смягчён! Всё та же система: «Сначала ранить, а потом лечить!».

Таким образом, начав с отрицания коммунизма и с насмешливого отношения к принципу «каждому по его потребностям», они, эти великие экономисты, в конце концов замечают, что забыли-таки одну вещь, а именно потребности производителей. Они спешат их признать. Но только оценивать эти потребности должно государство; государство должно проверять, соразмерны ли они с делами каждого? Подать ли милостыню или нет?

Государство, стало быть, возьмёт на себя благотворительность — призрение хромы и слепых нищих, а от этого до английского закона о бедных и до английских рабочих домов, т.-е. тюрем для неимущих — всего один шаг. Ведь и то безжалостное современное общество, против которого мы возмущаемся, тоже оказалось

вынужденным *смягчить* свой индивидуализм; оно тоже должно было сделать некоторые уступки в направлении коммунизма и точно так же в форме благотворительности: оно так же завело Воспитательные и «рабочие дома!».

Оно точно так же раздаёт дешёвые обеды из боязни, как бы голодные не разграбили его лавок. Оно так же устраивает больницы, очень часто плохие, но иногда и великолепные, чтобы помешать распространению заразных болезней: неравно и сам заразишься! Оно так же оплачивает сначала часы труда, а затем, берёт на себя воспитание детей тех, кого довело до крайней нищеты. Оно так же принимает во внимание потребности и делает это в форме Казённого Попечительства о Бедных.

Бедность послужила, как мы видели, первым источником обогащения; *она* создала первого капиталиста. В самом деле, ведь прежде чем явилась та «прибавочная стоимость», о которой так любят говорить, нужно было, чтобы существовали бедняки, которые согласились бы продавать свою рабочую силу, чтобы не умереть с голоду. Их бедность сделала возможным существование богатых. И если она так сильно развилась к концу Средних Веков, то это благодаря тому, что завоевания и войны, последовавшие за образованием государств и обогащением вследствие эксплуатации Востока, порвали связи, существовавшие раньше между земельными и городскими общинами, заставили их, вместо той солидарности, которая практиковалась прежде, ввести у себя драгоценный для эксплуататоров принцип наёмного труда.

Неужели же этот самый принцип должен явиться теперь результатом революции? И неужели мы назовём этот жалкий результат именем «социальной революции» — этим именем, дорогим для всех голодных, принижённых и оскорблённых?

Нет, этого не будет. В тот день, когда старые учреждения начнут падать под ударами пролетариев, — раздадутся голоса, требующие «хлеба, убежища и довольства для всех!».

И эти голоса будут услышаны. Народ скажет: «Удовлетворим прежде всего ту жажду жизни, радости и свободы, которой никогда мы ещё не могли утолить! А когда мы испытаем это счастье, тогда мы примемся за дело: за уничтожение последних следов буржуазного общества, его нравственности, почерпнутой из бухгалтерских книг, его философии «прихода и расхода», его учреждений, устанавливающих различие между «твоим и моим». И «разрушая, мы будем создавать», как говорил Прудон, — будем создавать во имя коммунизма и анархизма.

# Потребление и производство.

## I.

Исходя из понятия о свободной личности и переходя затем к свободному обществу, — вместо того, чтобы начинать с государства, а затем спускаться к личности, — рассматривая следовательно, общество и его политическую организацию с совершенно иной точки зрения, чем школы сторонников государственной власти, мы и в вопросах экономических следуем тому же методу. Мы изучаем потребности личности и средства, которыми она пользуется для их удовлетворения, а затем уже обсуждаем вопросы производства, обмена, налогов, правительства и т. п.

С первого взгляда это различие может показаться неважным; но в действительности оно перевёртывает все понятия официальной политической экономии.

Откройте сочинение любого из экономистов. Вы увидите, что он начинает с *производства*: разбирает средства, употребляемые в настоящее время для создания богатств: разделение труда, мануфактуры, роль машин, накопление капитала. Начиная с Адама Смита и кончая Марксом, все экономисты поступали именно так. Только во второй или третьей части своего труда начинает экономист говорить о *потреблении*, т.-е. об удовлетворении потребностей личности; да и то ограничивается он описанием того, как распределяются теперь богатства между всеми теми, кто предъявляет на них права.

Мне, может быть скажут, что это вполне логично, что прежде, чем удовлетворять потребности, нужно создать то, что требуется для этого удовлетворения; что прежде, чем *потреблять*, нужно *произвести*. Но прежде, чем произвести что бы то ни было, разве не нужно почувствовать *потребность* в данном предмете? Что, как не необходимость, заставило прежде всего человека охотиться, выводить скот, обрабатывать землю, выделывать орудия, а позднее — изобретать и строить машины? И чем, как не изучением потребностей должно было бы руководствоваться производство? Было бы, поэтому, по меньшей мере, одинаково логично начать именно с того, что побуждает человека работать, а затем уже перейти к рассмотрению средств удовлетворения потребностей посредством производства.

Именно так мы и делаем. Но оказывается, что как только мы посмотрим на политическую экономию с этой точки зрения, она принимает совершенно иной вид. Из простого описания фактов она превращается в настоящую *науку*, стоящую наравне с физиологией, — науку, которую можно определить как *изучение потребностей человечества и средств удовлетворения их с наименьшей бесполезной потерей человеческих сил*. Её следовало бы назвать *физиологией общества*. Она является параллелью физиологии животных и растений, которая точно так же рассматривает потребности растения или животного и наиболее выгодные способы их удовлетворения. В ряду общественных наук экономия

человеческих обществ занимает таким образом место, на котором, в ряду наук о жизни (биологических), стоит физиология живых существ.

Мы говорим: «Вот перед нами люди, соединившиеся в общество. Хижина дикаря перестала их удовлетворять, и они требуют прочного и более или менее удобного дома. И вот мы хотим знать, может ли, при данном состоянии производительности человеческого труда, каждый из них иметь свой дом? А если нет то что именно мешает этому?»

Но раз мы поставим такой вопрос, мы сейчас же увидим, что всякая европейская семья вполне могла бы обладать удобным небольшим домом, вроде тех, которые строятся для рабочих в Англии, в Бельгии или в Пульмановском поселении, или же соответственной квартирой. Известного и сравнительно небольшого числа рабочих дней было бы вполне достаточно для того, чтобы построить для семьи в семь или восемь человек хорошенький домик, где было бы много воздуха и света, удобно расположенный, здоровый и освещённый газом.

Между тем, девять десятых европейцев никогда не жили в здоровом помещении, потому что всегда человек из народа работал изо дня в день, и почти без перерыва, для удовлетворения потребностей правящих классов; и никогда не имел он ни времени, ни денег, чтобы выстроить или заказать себе этот желанный домик. И до тех пор, пока современные условия не изменятся, у него никогда не будет дома, и всегда будет он жить в какой-нибудь трущобе.

Мы принимаем, таким образом, метод рассуждения, совершенно обратный тем экономистам, которые устанавливают якобы вечные законы производства, затем подводят счёт всем домам, которые *строят теперь* ежегодно, и доказывают посредством статистических данных, что так как этих новых домов не хватает для удовлетворения всех требований, то 9/10 европейского населения *должны* жить в трущобах.

Или же, возьмём вопрос о пище. Перечислив все благодеяния разделения труда, экономисты приходят к тому заключению, что оно требует, чтобы одни люди занимались земледелием, а другие — фабричной промышленностью. Земледельцы производят столько-то, фабрики — столько-то, обмен происходит так-то; затем, они рассматривают продажу, прибыль, чистый доход или прибавочную стоимость, заработную плату, налоги, банки и т. д.

Но изучив всё это по их книгам, мы всё-таки нисколько не подвинулись вперёд, и если мы спросим у них: «Каким же образом существует столько семей, не имеющих хлеба, когда каждая семья могла бы производить достаточно хлеба, чтобы накормить десять, двадцать, или даже сто человек в год?», то они, в ответ, заговорят сызнова, как в сказке о белом бычке, о разделении труда, заработной плате, прибавочной стоимости, и капитале и т. п., и придут к такому заключению, что произведённых продуктов недостаточно для удовлетворения всех потребностей — заключению, которое, если бы даже оно было справедливо, всё-таки не даёт никакого ответа на вопрос: «Может ли, или не может человек произвести при помощи своего труда нужный для него хлеб? А если не может, то что ему мешает в этом?»

Вот перед нами триста пятьдесят миллионов европейцев. Ежегодно им требуется столько-то хлеба, столько-то мяса, столько-то вина, столько-то молока, яиц и масла. Им нужно столько-то домов, столько-то одежды. Это — минимум их потребностей. Могут ли они произвести всё это, или нет? И если да, — то останется ли у них ещё свободное время для того, чтобы пользоваться некоторою роскошью, произведениями искусства, наукой и развлечениями, — одним словом, для всего того, что не входит в разряд существенно необходимого? Если ответ на этот вопрос будет утвердительный, то что же, в таком случае, мешает им? Как устранить существующие препятствия? Если, наконец, для того, чтобы достигнуть такой производительности, нужно время, нужно преобразовать промышленность, завести лучшие машины и т. п., — прекрасно, дадим на это, сколько окажется нужным времени; но, во всяком случае, не будем же терять из виду *цели всякого производства — удовлетворение потребностей.*

Если самые существенные потребности человека остаются неудовлетворёнными вследствие малой производительности труда — то посмотрим, что нужно сделать, чтобы увеличить эту производительность? Но нет ли этому также и других причин? Не происходит ли это, между прочим, оттого, что производство совершенно потеряло из виду *потребности* и приняло ложное направление? И если мы увидим, что именно в этом лежит причина наших недостатков, то поищем же средства преобразовать производство так, чтобы оно на самом деле удовлетворяло потребностям.

Такова — единственная верная, по нашему мнению, точка зрения; она одна даёт возможность политической экономии действительно стать наукой — наукой общественной физиологии — наукой *экономии* общественных сил.

Разумеется, когда этой науке придётся иметь дело с теми формами производства, которые существуют в настоящее время в цивилизованных нациях, или с формами, встречающимися в индусской общине или у дикарей, то она будет излагать факты так же, как это делают современные экономисты. Это будет отдел *описательный* подобный описательным отделам зоологии или ботаники. Заметим однако, что если бы и эта часть науки разрабатывалась с точки зрения экономии сил в удовлетворении потребностей, то и она много выиграла бы, и в ясности и в научной ценности. Она с очевидностью показала бы, к какой ужасающей трате человеческих сил приводит современный порядок, и она доказала бы то, что мы утверждаем, — то есть, что пока этот убийственный порядок будет существовать, человеческие потребности никогда не будут удовлетворены.

Точка зрения на хозяйственные явления оказалась бы, таким образом, совершенно иной. За станком, производящим столько-то аршин миткаля, за машиною, пробивающею столько-то стальных досок, за сундуком, в который стекаются такие-то барыши, мы увидали бы человека, — производителя, — по большей части исключённого из того пиршества, которое он подготавливает для других. Мы поняли бы также, что так называемые законы ценности, обмена и т. п. суть ничто иное, как выражение — часто очень неверное, вследствие ошибочности самого исходного пункта — тех явлений, которые происходят теперь, но которые могли бы, и будут происходить совершенно иначе в обществе, где производство

будет организовано с целью удовлетворения всех его нужд.

## II.

Нет ни одного принципа в политической экономии, который бы не принял совершенно другого вида, если стать на нашу точку зрения.

Возьмём хотя бы перепроизводство. Вот слово, которым нам уже прожужжали уши! Есть ли хоть один экономист, хоть один академик, или кандидат в таковые, который бы не утверждал, что экономические кризисы происходят от перепроизводства, что в известный момент производится больше ситца, сукна или часов, чем требуется! При этом, капиталистов, упорно стремящихся производить свыше всевозможного потребления, обыкновенно обвиняют в излишней «жадности».

Но всё это, в ближайшем изучении вопроса, оказывается совершенным вздором. Действительно, назовите хоть один товар (из числа общеупотребляемых), который бы производился в количестве, превышающем потребность в нём. Переберите все предметы, вывозимые странами, ведущими большую внешнюю торговлю, — и вы увидите, что почти все эти товары производятся в количествах, *недостаточных* даже для жителей той самой страны, которая их вывозит.

Тот хлеб, например, который русский крестьянин отсылает в Европу, вовсе не составляет излишка: даже самые лучшие урожаи ржи и пшеницы в Европейской России *едва-едва* дают столько, сколько нужно для её населения. Вообще, когда крестьянин продаёт свой хлеб, чтобы уплатить налоги и выкупные, и аренду за землю, он лишает себя и детей самого необходимого.

Точно так же не излишек угля посылает во все страны света Англия: ей остаётся для домашнего потребления всего 47 пудов в год на каждого жителя, и миллионы англичан оказываются зимою лишёнными огня, или зажигают огонёк лишь постольку, поскольку это необходимо, чтобы сварить немного овощей. В сущности (если оставить в стороне некоторые предметы роскоши) в Англии — этой стране наибольшего вывоза — существует один только общеупотребляемый товар, производимый в количестве, *может быть*, превышающем потребности: это — бумажные ткани. Но когда мы вспомним, какие лохмотья носит на себе *по крайней мере* одна треть населения Соединённого Королевства, то мы склонны думать, что по всей вероятности, всё количество производимых в Англии бумажных тканей соответствовало бы, как раз, действительным потребностям населения. Излишек оказался бы самый ничтожный, если бы все стали носить *нужное* бельё и одежду.

Вообще «вывоз» обыкновенно представляет из себя вовсе не «излишек» — даже если в начале вывозная торговля и имела действительно это происхождение. Басня о босом сапожнике и оборванном портном также справедлива по отношению к народам, как была когда-то справедлива по отношению к ремесленнику. Вывозят вообще *необходимое*, нужное самой стране, и происходит это от того, что рабочие не могут купить на свою заработную плату того, что они произвели, раз им приходится,



покупая товар, платить и ренту, и прибыль, и проценты капиталисту и банкиру<sup>[18]</sup>.

Неудовлетворённой остаётся не только всё растущая потребность благосостояния, но очень часто и потребность в самом необходимом. А поэтому и перепроизводства (по крайней мере в этом смысле) не существует: оно есть не что иное, как изобретение теоретиков политической экономии.

Экономисты единогласно уверяют нас, что из всех экономических «законов» наиболее твёрдо установленный, это — тот, что «человек производит больше, чем потребляет!», т.-е., что после того, когда он потратит на свою жизнь продукты своего труда, у него остаётся ещё некоторый излишек. Одна семья землевладельцев, например, производит достаточно, чтобы прокормить несколько семей.

Эта часто повторяемая фраза кажется нам тоже лишённой всякого смысла. Если бы она означала, что каждое поколение оставляет что-нибудь последующим поколениям, то она была бы справедлива. В самом деле, крестьянин сажает дерево, которое проживает тридцать, сорок или сто лет и с которого его внуки всё ещё будут рвать плоды. Если он расчистил клочок нови, он увеличил этим наследство грядущих поколений. Дорога, мост, канал, дом и находящаяся в нём мебель, всё это — богатства, завещанные следующим поколениям.

Но речь идёт не об этом. Нам говорят, что так как государство всегда брало с него значительную долю его жатвы в виде налогов, духовенство — в виде десятины, а барин в виде оброка, или арендной платы, то создался целый класс людей, которые в былые времена потребляли то, что производили (за исключением того, что оставлялось ими в запас, или того, что они делали впрок, для своих же детей и внуков), но которые теперь принуждены кормиться с грехом пополам и недоедать, потому что львиную долю того, что они выращивали, берут у них государство, землевладелец, священник и ростовщик.

Мы предпочитаем поэтому сказать, что *крестьянин потребляет меньше, чем производит*, потому что его заставляют продавать всё, что у него есть лучшего, а себе оставлять ровно столько, сколько крайне необходимо на скудное пропитание. И всякий поймёт, что так сказать несравненно вернее, а вместе с тем и полезнее, потому что заставляя задуматься над причиной крестьянской нищеты.

Заметим также, что если принять за исходную точку *потребности* людей, то неизбежно должны прийти к коммунизму, т.-е. к тому общественному устройству, которое наиболее полным и наиболее экономным образом обеспечивает удовлетворение этих потребностей. Напротив того, если исходить из современного производства, иметь в виду только прибыль и прибавочную стоимость, оставляя в стороне вопрос о том, насколько производство даёт удовлетворение потребностям, экономист неизбежно приходит к капитализму, или, самое большее к коллективизму, — во всяком случае, к той или другой форме наёмного труда.

В самом деле, если мы обратим внимание на потребности личности и общества, и на те средства, которыми человек пользовался на различных ступенях своего развития для удовлетворения, то мы убедимся в необходимости согласовать единичные усилия людей и направлять их к общей цели — удовлетворению нужд всех членов общества,—а не представлять удовлетворение этих нужд всем

случайностям разрозненного производства, как это происходит теперь. Мы поймём, что присвоение небольшим меньшинством всех богатств, которые остались непотребленными в одном поколении, и должны были бы перейти к следующему поколению, отнюдь не соответствует интересам общества. Потребности трёх четвертей общества остаются в таком случае неудовлетворёнными, а бесполезная трата человеческих сил становится ещё более бессмысленной и ещё более жестокой.

Мы поймём, наконец, что самое выгодное употребление продуктов, это удовлетворение, прежде всего, *наиболее настоятельных потребностей*, и что ценность предмета, по отношению к его полезности зависит не от простого каприза, как часто говорят экономисты, а от той степени, в которой он нужен для удовлетворения действительных и наиболее настоятельных нужд.

Коммунизм — т.-е. общественный взгляд на потребление, производство и обмен — и общественный строй, соответствующий этому взгляду — является, таким образом, прямым выводом из такого способа понимания вещей — единственного, по нашему мнению, действительно научного понимания жизни обществ.

Общество, которое удовлетворит потребности всех и сумеет устроить ради этого своё производство, должно будет, кроме того, покончить и с некоторыми предрассудками, установившимися относительно промышленности, и прежде всего — с прославленной экономистами *теорией разделения труда*, которою мы и займёмся в следующей главе.

## Разделение труда.

Политическая экономия всегда ограничивалась тем, что перечисляла факты, происходящие в обществе, а затем истолковывала их в интересах господствующих классов. Точно так же поступила она с разделением труда в промышленности: она нашла его выгодным для капиталистов и потому возвела его в принцип, в закон.

Посмотрите на этого деревенского кузнеца, говорил Адам Смит — основатель современной политической экономии. Если он не привык делать гвозди, то он с трудом сделает их двести или триста в день, и то они будут плохие. Но если же кузнец будет делать всю свою жизнь одни только гвозди, то он легко сможет произвести их до двух тысяч трёхсот в течение одного дня. И Смит спешил вывести из этого заключение, что надо разделять труд и всё специализировать. В конце концов у нас будут кузнецы, не умеющие делать ничего кроме шляпки или острия гвоздя, и мы таким образом произведём гораздо больше и обогатимся.

Что же касается того, — не потеряет ли кузнец, осуждённый на всю свою жизнь делать только шляпки гвоздей, всякий интерес к работе? Не окажется ли он, зная только одну эту частицу своего ремесла, целиком во власти хозяина? Не придётся ли ему сидеть без работы по четыре месяца в году? Не падёт ли его заработная плата, когда окажется, что его легко можно заменить мальчиком-учеником, — об этом Адам Смит не думал, когда восклицал: «Да здравствует разделение труда! Вот где золотая сыпь, обогащающая нацию!» И все стали восклицать вслед за ним то же самое.

Даже впоследствии, когда Сисмонди и Ж. Б. Сэй стали замечать, что вместо того, чтобы обогащать нацию, разделение труда обогащает только богатых, а рабочий, вынужденный всю свою жизнь выделывать какую-нибудь восемнадцатую долю булавки, тупеет и доходит до нищеты, даже тогда, предложили ли официальные политико-экономы какие-нибудь меры против этих последствий разделения труда? Никаких. Им не приходило в голову, что, занимаясь всю жизнь одною и тою же машинальною работою, рабочий потеряет ум и изобретательность, и что производительность нации падает вследствие этого, тогда как разнообразие занятий, наоборот, сильно увеличило бы производительность данного народа и развило бы изобретательность. И вот теперь, перед нами восстаёт именно этот вопрос.

Если бы, впрочем, разделение труда — постоянное разделение, на всю жизнь, а иногда и передающееся даже по наследству от отца к сыну — проповедовали одни только экономисты, то мы бы предоставили им говорить что хотят. Но дело в том, что идеи этих учёных мужей проникают в умы публики и извращают их. Слыша постоянно о разделении труда, о проценте, о ренте, о кредите и т. п., как о давно решённых вопросах, все — в том числе и сами рабочие — начинают рассуждать так же, как и экономисты, и преклоняться перед теми же идолами.

Мы видим, например, что многие социалисты, даже те, которые не побоялись напасть на заблуждения буржуазной науки, относятся с уважением к принципу разделения труда. Если вы заговорите с ними о том, как бы следовало обществу

организоваться во время Революции, они скажут вам, что разделение труда нужно конечно сохранить: что если вы делали булабочные головки до Революции, то вы будете делать те же головки и после. Правда, вы будете заниматься этим всего пять часов в день, но всё-таки всю свою жизнь вы будете делать одни только булабочные головки; другие будут изобретать машины или проекты машин, которые дадут вам возможность удешевить ваше производство булабочных головок; третьи, наконец, специализируются в высоких сферах литературного, научного и художественного труда. Вы же родились выделывателем булабочных головок, — всё равно как Пастер родился прививателем бешенства, и Революция оставит вас на ваших теперешних местах: его — в лаборатории, вас — за выделкой булабочных головок.

Вот этот-то именно ужасный принцип, бесконечно вредный для общества и притупляющий для личности, — этот источник целого ряда зол, мы и хотим разобрать теперь в некоторых его проявлениях.

Последствия разделения труда известны. В современном обществе мы разделены на два класса: с одной стороны — производители, которые потребляют очень мало и избавлены от труда думать, потому что им нужно работать, и в то же время работают плохо, потому что их мозг бездействует; с другой стороны — потребители, которые производят мало, или не производят вовсе ничего, но пользуются привилегией думать за других, и думают: но думают плохо, потому, что существует целый мир — мир работников физического труда, — который остаётся им неизвестным. Работники земледельческого труда не имеют никакого понятия о машине, а те, которые работают у машин, не знают ничего о работах полевых. Идеал современной промышленности, это — ребёнок, смотрящий за машиной, в которой ничего не понимает и не должен понимать; рядом с ним — надсмотрщик, налагающий на него штрафы, если его внимание хоть на минуту ослабеет, а над ними обоими — инженер, который выдумывает машину, за которой человеку останется только подкладывать, подталкивать и смазывать. Земледельческого рабочего стремятся даже совсем уничтожить: идеал современного сельского хозяйства, это — работник, нанятый на три месяца и управляющей паровым плугом или молотилкой, и отпускаемый, как только он вспахал или обмолотил. Разделение труда, это значит, что на человека наклеивается на всю жизнь известный ярлык, который делает из него завязчика узелков на фабрике, подталкивателя тачки в таком-то месте штольни, но не имеющего ни малейшего понятия ни о машине в её целом, ни о данной отрасли промышленности, ни о добыче угля — человека, который вследствие этого теряет ту самую охоту к труду и ту самую изобретательность, которые создали в начале развития современной промышленности все машины, которыми мы так гордимся.

То же разделение труда, которое установили между людьми, хотели установить и между народами. Человечество полагалось разделить, так сказать, на национальные фабрики, имеющие каждая свою специальность. Россия, говорили нам, предназначена природой выращивать хлеб: Англия — выделывать бумажные ткани; Бельгия — производить сукна, а Швейцария — поставлять нянек. Затем, внутри каждой нации должна произойти новая специализация: Лион будет производить шёлк, Овернь — кружева, Париж — различные мелкие вещи; Вознесенск будет делать миткали, Харьков — сукна, а Петербург чиновников. Если

верить экономистам, то такое «разделение труда» должно было открыть человечеству безграничное поле, как для производства, так и для потребления — целую новую эру труда и громаднейшего богатства для всех.

Но все эти обширные надежды рушатся ныне, по мере того, как технические знания начинают распространяться повсеместно. Пока Англия одна производила бумажные ткани и обрабатывала в больших размерах металлы, а Париж один производил артистические мелочи и модные вещи — всё шло хорошо, и о благодеяниях того, что называли распределением труда, можно было говорить, не боясь опровержения.

Но вот начинает нарождаться новое течение, под влиянием которого все образованные нации пытаются завести, каждая у себя, всевозможные отрасли промышленности, так как они находят, что им выгоднее производить самим то, что они раньше покупали по очень дорогой цене от других, платя им дань за своё невежество; даже колонии, как Индия, Канада, Австралия, стремятся освободиться от своих метрополий. Наука распространяет повсюду технику всех производств, и люди замечают, что им совсем незачем платить непомерно высокие цены за английское железо, за французский шёлк, когда они сами могут производить у себя — в Германии, в России, в Австрии, в Соединённых Штатах то же железо и те же шелка.

Создать у себя промышленность обрабатывающую, во всевозможных её отраслях, становится стремлением решительно всех народов. И является вопрос: если разделение труда между различными народами, которое ещё недавно выставлялось нам экономической необходимостью — законом — исчезает, то не так ли ложен был закон о необходимости разделения труда, специализации, между отдельными личностями<sup>[19]</sup>.

# Децентрализация промышленности.

## I.

К концу наполеоновских войн Англии почти вполне удалось разорить крупную промышленность, народившуюся во Франции в конце восемнадцатого века. Она стала владычицей морей и не имела серьёзных конкурентов. Воспользовавшись этим, чтобы монополизировать обрабатывающую промышленность и заставляя своих соседей покупать по какой ей угодно было цене товары, производившиеся ею одною: она стала накапливать богатства за богатствами и сумела извлечь из этого привилегированного положения и связанных с ним преимуществ большую выгоду.

Но когда буржуазная революция прошлого века уничтожила крепостное право и создавала во Франции пролетариат, крупная промышленность, временно приостановленная в своём росте, начала развиваться с новой силой и уже со второй половины девятнадцатого века Франция перестала зависеть от Англии в отношении продуктов фабричного производства. В настоящее время она в свою очередь сама ведёт вывозную торговлю, продавая за границу больше, чем на полтора миллиарда товаров, из которых две трети состоят из материй. Число французов, работающих на вывоз или живущих внешнею торговлею, определяется приблизительно в три миллиона.

Таким образом, Франция перестала быть зависимой от Англии и в свою очередь начала стремиться монополизировать некоторые отрасли внешней торговли, как наприм.: торговлю шёлковыми материями и готовым платьем. Она получила от этого огромную выгоду, но в настоящее время ей уже грозит опасность утратить навсегда эту монополию, подобно тому, как Англия теряет монополию производства бумажных тканей и даже бумажной пряжи.

В своём движении по направлению к востоку, промышленность остановилась затем на Германии. Тридцать лет тому назад Германия получала большую часть продуктов крупной промышленности из Англии и из Франции. Теперь дело стоит совершенно иначе: в течение последних двадцати пяти лет, особенно же со времени войны, Германия совершенно преобразовала свою промышленность. Фабрики её снабжены самыми лучшими машинами и дают самые новые произведения промышленного искусства — манчестерские бумажные ткани и лионские шелка. Тогда как для изобретения и усовершенствования какой-нибудь современной машины в Лионе или в Манчестере потребовалось два или три поколения рабочих, Германия берёт эту машину уже готовою. Технические школы, приспособленные к потребностям промышленности, доставляют для её фабрик целую армию знающих рабочих, инженеров-практиков, умеющих работать как руками, так и теоретически. Немецкая промышленность начинает своё развитие с той точки, до которой Манчестер и Лион дошли лишь после пятидесятилетних усилий, опытов и исканий, а потому быстро развивается.

В результате, имея возможность производить то же самое у себя дома, Германия с каждым годом уменьшает свой ввоз товаров из Франции и Англии. Она уже

соперничает с ними в вывозе в Азию и Африку и даже более того: на самом парижском и лондонском рынках. Близорукие люди могут, конечно, возмущаться франкфуртским договором (между Францией и Германиею), могут объяснять немецкую конкуренцию маленькой разницей в железнодорожных тарифах, или тем, что немец работает «задаром» — т.-е. останавливаться на второстепенных сторонах вопроса; но при этом они упускают из виду великие исторические факты. Несомненным остаётся то, что крупная промышленность, составлявшая когда-то привилегию Англии и Франции, подвинулась по направлению к востоку. В Германии она встретила молодой и полный сил народ и буржуазию, умную и жаждущую обогатиться в свою очередь путём внешней торговли.

В то время, как Германия освобождалась от французской и английской опеки и начинала сама выделывать и бумажные и другие ткани, и машины — одним словом, все продукты фабричного производства — крупная промышленность пускала корни также и в России, где мы видим развитие фабрик тем более быстрее, что оно началось очень недавно.

В 1861 году, в момент уничтожения крепостного права, промышленности в России почти не существовало. Все нужные машины, рельсы, локомотивы, дорогие материи — всё это получалось с Запада. Двадцать лет спустя в ней было уже больше 85.000 фабрик и общая стоимость товаров, выходящих из этих фабрик, возросла в четыре раза. Старые машины целиком заменились новыми. Почти вся сталь, три четверти железа, две трети угля, потребляемых теперь, все локомотивы, все вагоны, все рельсы, почти все пароходы изготавливаются уже в самой России.

Из страны, предназначенной, по словам экономистов, всегда оставаться земледельческой, Россия превратилась в промышленную. Она уже весьма мало фабрикатов получает из Англии и очень немного из Германии.

Экономисты объясняют эти факты покровительственными пошлинами; между тем продукты фабричного производства продаются в России почти по тем же ценам, что и в Лондоне. Капитал не имеет родины: немецкие и английские капиталисты отлично привозят своих инженеров и надсмотрщиков за работами и устраивают в России и в Польше фабрики, несколько не уступающие по качеству своих продуктов лучшим фабрикам Англии. Если завтра ввозные пошлины будут уничтожены, фабрики от этого не погибнут, а только выиграют. В настоящую минуту английские инженеры сами наносят последний удар ввозу сукна и шерсти с Запада: они устраивают на юге России громадные шерстяные фабрики, снабжённые самыми усовершенствованными брадфордскими машинами, и через десять лет Россия будет ввозить лишь очень небольшое количество английских сукон и французских шерстяных тканей, и то только в качестве образчиков.

Крупная промышленность распространяется не только на восток, но и на юг. Туринская выставка 1884 года показала нам, какие успехи сделала итальянская промышленность, и ненависть между французской и итальянской буржуазией имеет единственным источником промышленное соперничество между ними. Италия освобождается от французской опеки и конкурирует с французскими купцами в бассейне Средиземного моря и на востоке. И вот почему, рано или поздно, на границе между Францией и Италией произойдёт кровопролитие, — если только

траты этой драгоценной крови не будет предотвращена Революцией.

Мы могли бы указать также на быстрые успехи Испании в развитии крупной промышленности. Но возьмём лучше Бразилию. Политико-экономы осудили её на то, чтобы вечно выращивать хлопок, вывозить его в сыром виде, а затем получать из Европы бумажные ткани, и действительно, тридцать лет тому назад в Бразилии было всего девять несчастных маленьких бумагопрядильных фабрик, с 385 веретёнами. В 1890-м году их уже было сорок шесть; в пяти из них имелось 40.000 веретён и они выносили на рынок тридцать миллионов метров бумажной ткани в год. За последние годы успехи были ещё быстрее.

Даже в Мексике начали выделывать бумажные ткани у себя, вместо того, чтобы привозить их из Европы, и в 1894 году английский консул доносил, что в Оризабе выделывают ситцы, которым едва ли есть равные среди привозных. Что касается Соединённых Штатов, то они уже освободились от европейской опеки. Крупная промышленность торжествует там вполне. Они уже ищут рынков.

Но страна, которая ярче всех опровергает теорию сторонников специализации национальных промышленности, это — Индия. Мы знаем, что нам всегда говорят в учебниках: «Крупным европейским нациям нужны колонии. Эти колонии будут посылать в метрополии сырые продукты: хлопок, шерсть, пряности и т. д. За то метрополия будет посылать им продукты своих фабрик: материи (дрянные, не находящие сбыта дома), старое железо, в виде отсталых уже машин — одним словом всё то, что ей самой не нужно, что ей стоит мало, но в колонии может быть продано по высокой цене.

Такова была теория и такова же была, в течение долгого времени, практика. В Лондоне и Манчестере наживались громаднейшие состояния, а Индия разорялась. Пройдите только по Индийскому Музею в Лондоне и вы увидите, какие неслыханные, невероятные богатства накопили в Калькутте и Бомбее английские торговцы.

Но вот другим, также английским, торговцам и капиталистам, пришла в голову совершенно естественная мысль, что гораздо выгоднее эксплуатировать жителей Индии непосредственно и выделывать бумажные ткани в самой Индии, вместо того, чтобы ввозить их на двести с лишком миллионов рублей в год из Англии.

Вначале им пришлось потерпеть ряд неудач. Индийские ткачи, артисты своего ремесла, не могли примириться с фабричными порядками. Машины, присланные из Ливерпуля, оказались негодным старьём; кроме того, нужно было принять во внимание условия климата, приспособиться к новым условиям. В настоящее время всё это уже пережито, и английская Индия становится всё более и более опасной соперницей для мануфактур метрополии. В ней существовало в 1895-м году 147 больших хлопчатобумажных фабрик, на которых работало около 146.000 рабочих. Каждый год Индия вывозит в Китай, в Голландскую Индию и в Африку больше чем на 50 миллионов рублей той самой белой бумажной материи, которую считали прежде специальностью Англии, а в 1897 г. бумажных тканей уже вывезено было из Индии на 140 миллионов рублей. И в то время, как английские рабочие сидят без работы, индусские женщины, получающие по 24 копейки в день, выделывают на



машине те бумажные ткани, которыми ныне начинают наводнять портовые города крайнего Востока. Джутовое же дело развивается ещё быстрее.

Одним словом, недалёк день, — и умные фабриканты отлично это знают (ради этого и Африку решили завоевать), когда в Англии не будут знать, куда девать те «рабочие руки», которые раньше занимались тканьем бумажных материй на вывоз. Мало того: есть очень серьёзные основания думать, что через двадцать лет Индия не будет покупать у Англии ни одной тонны железа. Первые препятствия, которые встречала эксплуатация угля и железа в Индии, уже успели преодолеть и на берегах Индийского океана уже возвышаются заводы, соперничающие с английскими.

Колонии, конкурирующие с метрополиями продуктами своих фабрик — вот поразительное явление экономической жизни девятнадцатого века.

И почему бы им и не конкурировать? Чего им не хватает? Капитала? Но капитал пойдёт всюду, где только есть несчастные, которых можно эксплуатировать. Знаний? Но знание не признаёт национальных границ. Технических знаний у рабочих? Но чем индусский рабочий хуже тех 92.000 мальчиков и девочек моложе пятнадцати лет, которые заняты теперь в Англии в обработке волокнистых веществ?

## II.

Мы бросили беглый взгляд на промышленность отдельных стран; теперь было бы интересно сделать такой же обзор некоторых специальных отраслей промышленности.

Возьмём, например, шёлк, который в первой половине этого века был чисто французским продуктом. Известно, что Лион стал одно время центром обработки шёлка, который сначала собирали в долине Роны, а затем стали покупать в Италии, Испании, Австрии, на Кавказе и в Японии. На десять миллионов фунтов шёлка-сырца, превращённого в 1875 году в материю в Лионе и окрестностях, французского шёлка приходилось всего 880.000 фунтов.

Но раз Лион стал обрабатывать ввозный шёлк, то почему было не делать того же самого Швейцарии, Германии, России? Мало-помалу тканьё шёлковых материй развилось в деревнях цюрихского кантона. Базель сделался крупным центром шёлкового производства. Кавказская администрация обратилась к марсельским работницам и лионским рабочим с приглашением приехать на Кавказ обучать грузин усовершенствованным приёмам разведения шелковичного червя, а кавказских крестьян — искусству превращать шёлк в материи. Этому же примеру последовала и Австрия. Германия устроила, при содействии самих же лионских рабочих, огромные шёлковые фабрики. Соединённые Штаты сделали то же самое в Патерсоне...

И вот теперь шёлковое производство уже перестало быть специальностью Франции. Шёлковые материи выделываются и в Германии, и в Австрии, и в Соединённых Штатах, и в Англии, и в России. Кавказские крестьяне ткут по зимам фуляры за такую плату, при которой лионскому ткачу пришлось бы умирать с

голоду. Италия посылает свои шелка во Францию, а Лион, вывозивший в период времени за 1870–74 года на 150 миллионов рублей шёлка, теперь вывозит его всего на 75 миллионов. Скоро он будет посылать за границу исключительно материи высших сортов, или же какие-нибудь новые ткани, которые могут послужить образцом для немцев, русских и японцев.

То же самое происходит и в других отраслях промышленности. Бельгия вполне утратила уже монополию выделки сукон, которые производятся теперь и в Германии, и в России, и в Австрии, и в Соединённых Штатах. Швейцария и французская Юра потеряли монополию производства часов: часы теперь делают повсюду. Шотландия уже не рафинирует сахара для России, а русский сахар ввозится в Англию; Италия, несмотря на то, что у неё нет ни железа, ни угля, сама строит свои броненосцы и паровые машины для своих пароходов; производство химических веществ перестало быть монополией Англии: серную кислоту и соду приготавливают повсюду. На парижской выставке 1889 года обращали на себя особое внимание всевозможные машины, построенные в окрестностях Цюриха, и оказалось, что Швейцария, удалённая от морей, не имеющая ни угля, ни железа — ничего, кроме прекрасных технических школ — производит теперь машины лучше и дешевле, чем Англия. Вот как сошла на нет старая теория специализации наций для обмена.

Таким образом в промышленности, как и во всём остальном, наблюдается то же стремление. т.-е. стремление к децентрализации.

Каждая нация находит более выгодным соединить у себя земледелие с возможно более разнообразными фабриками и заводами. Та специализация, о которой нам говорили политико-экономы, годилась, может быть, для обогащения нескольких капиталистов, но она совершенно бесполезна вообще: гораздо выгоднее, наоборот, чтобы каждая страна, каждая географическая область могла возделывать у себя нужные ей хлеб и овощи и производить сама большую часть предметов, которые она потребляет. Это разнообразие — лучший залог развития промышленности, посредством взаимодействия различных её отраслей, развития и распространения технических знаний, и вообще движения вперёд; тогда как специализация, это, наоборот, — остановка всякого прогресса.

Земледелие может процветать *только* рядом с промышленностью. А как только где-нибудь появится хоть один завод, вокруг него обязательно *должно* вырасти множество других заводов, которые поддерживают и поощряют друг друга своими изобретениями и развиваются параллельно.

### III.

В самом деле, вывозить хлеб — и ввозить муку, вывозить шерсть—и ввозить сукна, вывозить железо — и ввозить машины — бессмысленно не только потому, что с перевозкой связаны ненужные расходы, но ещё в особенности потому, что страна, в которой отсутствует промышленность, неизбежно окажется отсталой и в земледелии. Страна, в которой нет больших заводов для обработки стали, останется

позади и во всех других отраслях промышленности; и, наконец, потому, что таким образом значительное число промышленных и технических способностей, существующих среди народа, остаётся без употребления.

В мире производства всё, в настоящее время, начинает связываться одно с другим. Обработка земли стала невозможной без машин, без сильной поливки, без железных дорог, без искусственного удобрения. А для того, чтобы иметь приспособленные к местным условиям машины, железные дороги, снаряды для поливки, фабрики удобрения и т. п., требуется известная изобретательность, известное техническое умение, которые даже не могут проявиться, пока единственными земледельческими орудиями остаются заступ и соха.

Для того, чтобы поле могло быть хорошо обработано, для того, чтобы оно давало те роскошные урожаи, которых человек вправе от него требовать, вблизи его должны находиться фабрики и заводы — много фабрик и заводов, точно так же, как рядом с фабриками и заводами должно жить зажиточное крестьянское население, которое потребляло бы фабричные продукты. Иначе страна должна захиреть, как хиреет теперь Англия, вынужденная пускаться в очень дорогостоящие завоевания, чтобы сбывать свои товары, и отставать от других во всех отраслях промышленности, так как главный её доход стал теперь — отрезание купонов у акций и банковое дело, т.-е. ростовщичество.

Не в специализации, а в разнообразии занятий, в разнообразии способностей, соединяющихся ради одной общей цели — лежит главная сила экономического прогресса.

Представим себе теперь территорию — крупную или мелкую, делающую первые шаги на пути к Социальной Революции.

«Никакого изменения не произойдёт», говорят нам иногда коллективисты в своих утопиях. «Фабрики, заводы и мастерские экспроприируют и провозгласят их национальной или общинной собственностью, а затем каждый вернётся к своему обычному труду. Социальная Революция будет произведена».

Но этого, конечно, не будет. Социальная Революция так просто не совершится. Мы уже говорили, что, если завтра где бы то ни было: в Париже, в Лионе, или в каком-нибудь другом городе, вспыхнет революция, если завтра, в Париже или где бы то ни было, народ завладеет заводами, домами и банками — всё современное производство должно будет совершенно изменить весь свой вид, в силу одного этого факта.

Внешняя торговля и подвоз хлеба из-за границы прекратятся; движение товаров и съестных припасов будет приостановлено. Чтобы иметь всё необходимое, восставшему народу или восставшей территории придётся поэтому преобразовать всё своё производство. Если они не сумеют этого сделать — они должны будут погибнуть. Если же они восторжествуют, то это значит, что они совершат полную революцию во всей экономической жизни страны, во всём производстве и распределении.

Подвоз жизненных припасов приостановится, а потребление, между тем, возрастет; три миллиона французов, работающие на вывоз, останутся без работы;

множества предметов, которые Франция привыкла получать из дальних или из соседних стран, не будет; производство предметов роскоши временно приостановится; — что же делать тогда жителям, чтобы обеспечить себе возможность жизни хоть на год?

По нашему мнению, ответ ясен и неизбежен. Когда запасы начнут истощаться, большинство вынуждено будет обратиться за пищей к земле. Придётся возделывать землю, придётся соединить в самом Париже и в его окрестностях земледелие с промышленностью и оставить пока многие мелкие ремёсла, занимающиеся предметами роскоши, чтобы позаботиться о самом насущном — о хлебе.

Горожанам придётся заняться земледелием, — но очевидно не таким, которое теперь выпало на долю крестьян, изнуряющих себя за плугом и едва получающих чем себя прокормить, а земледелием, опирающимся на усиленную, садово-огородную обработку земли, применённую в широких размерах и пользующуюся всеми машинами, какие уже изобрёл и изобретёт человек. Они будут обрабатывать землю, но не так, как подобный вьючному животному крестьянин — на что, между прочим, парижский ювелир не пойдёт. Нет, они преобразуют земледелие и сделают это не через десять лет, а сейчас же в разгаре революционной борьбы, потому что иначе им не устоять перед врагом.

Они должны будут заняться землёю, как люди сознательные, вооружившись знанием и собираясь для привлекательного труда в весёлые группы, подобные тем, которые сто лет тому назад работали в Марсовом поле, приготавливая его к празднику Федерации. И действительно, труд земледельческий доставляет множество наслаждений, когда он не превышает свыше меры, когда он организован научно, когда человек улучшает и изобретает орудия, когда он сознаёт себя полезным членом общества.

Итак, нужно будет заняться обработкой земли. Но нужно будет, вместе с тем, производить и множество вещей, которые мы вообще привыкли получать из-за границы; а не следует забывать, что для жителей восставшей территории «заграницей» будет всё то, что не последует за ними в их революционном движении. В 1793 и 1871 году «заграница» начиналась для восставшего Парижа у самых ворот города. Спекулятор на хлеб, живший в соседнем городе, уже морил с голоду парижских сан-кюлотов («оборванцев»), точно так же и даже больше, чем немецкие войска, приведённые на французскую территорию версальскими заговорщиками. Нужно будет суметь обойтись без этой «заграницы» — и без неё обойдутся. Когда, вследствие континентальной блокады, Франция оказалась лишённой тростникового сахара, она выдумала свекловичный. Когда неоткуда было взять селитры для пороха, Париж нашёл её у себя в погребах. Неужели же мы, вооружённые современным знанием, окажемся ниже наших дедов, которые ещё только знакомились с первыми начатками науки.

Дело в том, что революция есть нечто большее, чем уничтожение того или другого строя. Она является также пробуждением человеческого ума, она представляет развитие изобретательности; она — заря новой науки, науки Лапласов, Ламарков, Лавуазье, созданной революцией 1789–1793 года. Она — революция в умах, ещё более значительная, чем революция в учреждениях.

А нам говорят, чтобы мы вернулись в свои мастерские, точно речь идёт о том, чтобы прийти к себе домой после прогулки в каком-нибудь загородном лесу, или к избирательным урнам!

Уже один факт разрушения буржуазной собственности предполагает неизбежно полное переустройство всей экономической жизни — и в мастерской, и в домах, и на заводах.

И Революция совершает это переустройство! Пусть только Париж, охваченный социальной Революцией, окажется на год или на два отрезанным от остального мира усилием царей, — лакеев буржуазного порядка; и парижане, ещё не забитые, к счастью, на крупных фабриках, а привыкшие изощрять свою изобретательность на всевозможных мелких ремёслах, покажут миру, чего может достигнуть человеческий ум, не требуя ниоткуда ничего, кроме двигательной силы освещающего нас солнца и уносящего наши нечистоты ветра, да тех сил, которые работают в недрах попираемой нами земли!

Люди увидят, что может сделать скопление на одном пункте земного шара этих бесконечно разнообразных и взаимно дополняющих друг друга ремёсел вместе с оживляющим духом революции, — для того, чтобы прокормить, одеть, поместить и окружить всею возможною роскошью два миллиона разумных существ.

И это вовсе не фантастический вымысел; для осуществления его достаточно будет того, *что уже известно, испробовано и найдено пригодным*. Пусть только это, известное нам, оживится и оплодотворится смелым дуновением Революции и самостоятельным порывом народных масс.

# Сельское хозяйство.

## I.

Политической экономии часто ставили в упрёк, что она выводит все свои заключения из того, несомненно ложного, положения, что единственным двигателем, заставляющим человека увеличивать свою производительную силу, является узко понятая личная выгода.

Упрёк этот вполне справедлив. Эпохи самых великих промышленных открытий и настоящих успехов промышленности всегда были, наоборот, эпохами, когда люди мечтали о всеобщем счастье и всего менее заботились о личном обогащении. Великие исследователи и изобретатели думали, главным образом, об освобождении человечества, и если бы Уатт, Стефенсон или Жакар (изобретатели паровой машины, паровозов и ткацкого станка) могли предвидеть, до какой нужды доведут рабочего результаты их бессонных ночей, они вероятно сожгли бы все свои планы и изломали бы свои модели.

Также ложен и другой существенный принцип политической экономии, а именно молчаливо подразумеваемая мысль, что если в некоторых отраслях промышленности и бывает часто перепроизводство, то, вообще говоря, общество никогда не будет обладать достаточным количеством продуктов, чтобы удовлетворить потребности всех; что, поэтому, никогда не придёт такое время, когда никто не будет вынужден продавать свою рабочую силу за заработную плату. Молчаливое признание этого лежит в основе всех теорий, всех так называемых «законов», которым нас учат экономисты.

А между тем нет сомнения, что как только какое-нибудь цивилизованное общество поставит себе вопрос о том, каковы потребности всех, и каковы средства для их удовлетворения, оно увидит, что, как в промышленности, так и в земледелии, есть полная возможность удовлетворить все потребности, если только умело приложить выработанные уже средства к удовлетворению потребностей, действительно существующих.

Что это верно по отношению к промышленности, никто не станет этого отрицать. Достаточно присмотреться к способам производства в крупных промышленных предприятиях, для извлечения угля и руды, для получения и обработки стали, для производства различных частей одежды и т. п., чтобы убедиться, что по отношению к продуктам мануфактуры, заводов и угольных копей, никакого сомнения быть не может. Мы могли бы уже теперь увеличить наше производство в несколько раз и притом сберечь ещё на сумме потраченного труда.

Но мы идём ещё дальше. Мы утверждаем, что в том же положении находится и земледелие: что земледелец, как и промышленник, *уже имеет в руках средства*, чтобы увеличить своё производство пищевых продуктов вчетверо, если не вдесятеро; и что он сможет это сделать сейчас же, как только почувствует в этом надобность. Учетверить производство хлеба, овощей, фруктов можно в год или в

два, как только труд станет *общественным*, вместо капиталистического.

Когда говорят о земледелии, то при этом всегда представляют себе крестьянина, согнувшегося над плугом, наугад бросающего в землю зерно плохого качества и с тревогой ожидающего, что даст ему хороший или плохой год; думают всегда о крестьянской семье, работающей с утра до вечера и получающей в виде вознаграждения лишь плохую избу или хижину, хлеб да квас, — одним словом, представляют себе всё того же «дикого зверя», которого Лабрюйер описал в прошлом столетии.

Самое большее, чего желают для этого забитого нуждой человека — это некоторое облегчение платимых им налогов, или уменьшение аренды, которую он платит за землю. Никто даже не решается себе представить такого крестьянина, который выпрямил бы, наконец, свою спину, пользовался бы досугом и производил бы в несколько часов в день всё, что нужно для прокормления, не только его семьи, но, по крайней мере, ещё сотни человек. Даже в самых [смелых] своих мечтах социалисты не решаются идти дальше американского крупного фермерства, которое в действительности представляет лишь детское развитие настоящего земледелия, или «армий труда», согнанных начальством на теперешние же поля.

А между тем, у современного земледельца особенно в некоторых частях Франции, уже зарождаются более широкие понятия, более грандиозные представления. Чтобы вырастить всю растительную пищу нужную для целой семьи, оказывается достаточным, на деле, меньше десятины. Для прокормления двадцати пяти голов рогатого скота нужно в действительности не больше земли, чем прежде требовалось для одного быка или коровы, т.-е. трёх десятин. Современный земледelec уже стремится теперь сам *сделать* себе почву и не зависеть ни от засух, ни даже, до некоторой степени, от климата, так как можно согревать вокруг молодого растения и воздух и почву. Одним словом, идеал современного земледелия, это — принять приёмы садовода и огородника и выращивать на пространстве одной десятины столько, сколько не собирали прежде и с двадцати десятин; и при этом, не истощать себя чрезмерной работой, а, наоборот, значительно сократить сумму труда. Одним словом, в отдельных, благоприятно поставленных местностях, а также среди огородников возле больших городов уже вырабатываются такие приёмы земледелия, что отдавая обработке земли ровно столько труда, сколько каждый из нас может отдать с полным удовольствием, мы уже имеем полную возможность доставить всем обильную пищу. Вот куда идёт, чего добивается *современное* земледелие.

В то время, как учёные, во главе с Либихом — создателем химической теории земледелия — увлекаясь теориями, часто впадали в очень серьёзные ошибки, неграмотные земледельцы открыли совершенно новые пути для обеспечения благосостояния в обществе. Огородники из-под Парижа, Труа и Руана, английские садовники, фламандские фермеры, джерзейские и гернзейские крестьяне и огородники островков Силли открыли нам такие широкие горизонты, которых взор даже не в силах сразу охватить.

Прежде крестьянской семье, чтобы прожить одними только продуктами земли — а известно, как живут крестьяне — требовалось не меньше семи или восьми

десятин. Теперь же невозможно даже сказать, как мало земли нужно для того, чтобы доставить семье всё, — и необходимое и то, что теперь считается роскошью, — так много может дать земля, если только её обрабатывать согласно правилам усиленного земледелия. Десять лет тому назад мы сказали бы, что двух десятин любой земли достаточно, чтобы вырастить хлеб, картофель, овощи и превосходные фрукты в изобилии для семьи в пять или шесть душ. Теперь же можно уже смело сказать, что для этого и двух десятин — много. Пределы необходимого пространства с каждым днём суживаются и если бы нас спросили, сколько человек может прожить в полном довольстве на пространстве одной квадратной версты, не получая никаких земледельческих продуктов извне, мы бы затруднились ответом, так как по мере успехов земледелия число это, на наших глазах, быстро растёт за последние годы.

Уже десять лет тому назад можно было с уверенностью сказать, что продуктами одной только французской почвы могло бы свободно прокормиться, не ввозя ничего, население в сто миллионов человек. Теперь же, во Франции, в Бельгии, в Голландии, на островах Джерзее и Гернзее, а также и в восточных штатах Америки, земледелие сделало за последние годы такие громадные успехи, и перед нами открываются каждый год такие новые горизонты, что мы можем сказать, что и для ста миллионов населения, территории Франции было бы слишком много. Если земля обрабатывалась так, как она уже обрабатывается во многих местах, даже при самой неплодотворной почве, то сто миллионов людей, на пространстве в пятьдесят миллионов десятин французской территории составило бы лишь малую долю того населения, которое эта почва могла бы прокормить. Возможность прокормить данное население с данного пространства земли растёт по мере того, как сам человек требует от земли всё больше и больше плодов.

Как бы то ни было, можно считать *вполне доказанным*, — мы увидим это ниже — что, если бы Париж и два департамента (Сены и Сены с Уазой) организовались завтра же в анархическую общину, где все занимались бы физическим трудом, и если бы весь мир решил не посылать ни одной корзины плодов, и при том не оставил бы им никакой другой земли, кроме территории этих двух департаментов, — то и тогда они могли бы сами производить не только необходимый им для всего городского и сельского населения этих двух департаментов хлеб, мясо и овощи, но и все плоды, составляющие теперь предмет роскоши.

Мы утверждаем, кроме того, что общее количество затраченного человеческого труда было бы при этом гораздо *меньше*, чем сколько это тратится теперь, когда это население кормится хлебом, привезённым из Оверни или из России, овощами, выращиваемыми в различных местах при помощи полевого хозяйства, и фруктами, привозимыми с юга.

Мы, конечно, не хотим этим сказать, что нужно устранить *всякий* обмен и что каждая местность должна стараться производить всё и именно то, что при данных условиях её климата может расти только благодаря более или менее искусственной культуре. Мы хотим только показать, что теория обмена, в том виде, в каком она проповедуется теперь, сильно преувеличена, и что многие из ныне совершающихся «обменов» бесполезны и даже вредны. Мы думаем, кроме того, что до сих пор совершенно не принимался в расчёт весь тот труд, который употребляют например



южане, чтобы возделывать виноград, или русские и венгерские крестьяне, возделывающие хлеб, как бы ни были плодородны их степи. При их теперешних приёмах хозяйства, большею частью ручного, они, конечно, тратят на это несравненно больше усилий, чем потребовалось бы для получения тех же продуктов при хозяйстве усиленном, даже в менее благоприятном климате и с менее плодотворною от природы почвою.

## II.

Мы не можем привести здесь всех многочисленных фактов, на которых мы основываемся, и для более подробных сведений нам придётся отослать читателя к книге, изданной нами на английском языке<sup>[20]</sup>, а главным образом — посоветовать тем, кто серьёзно интересуется этим вопросом, прочесть некоторые очень хорошие сочинения, вышедшие во Франции и список которых мы здесь даём<sup>[21]</sup>.

Что же касается жителей больших городов, которые ещё не имеют никакого действительного представления о том, что такое земледелие, то мы советуем им походить пешком по окрестностям своего города и изучить хозяйство подгородных огородников. Пусть они присмотрятся и потолкуют с огородниками — и перед ними откроется целый новый мир. Они увидят до известной степени, чем будет европейское земледелие в двадцатом веке, и поймут, какая сила окажется в руках у Социальной Революции, когда люди научатся получать из земли всё то, чего они от неё требуют.

Несколько фактов достаточно будет, чтобы показать, что мы несколько не преувеличиваем. Мы должны сделать только одно предварительное замечание.

Всем известно, в каком жалком положении находится теперь европейское земледелие. Если крестьянина не грабит земельный собственник, то его разоряет Государство. Если последнее делает это в скромных размерах, то крестьянина поработает ростовщик, и своими векселями и залоговыми свидетельствами делает из него простого арендатора земли, которая на деле принадлежит уже банкирам-закладчикам. Таким образом, крестьянина разоряют и земельный собственник, и государство и банкир; один — арендной платой, другой — налогами, третий — процентами. Сумма всего этого грабежа различна в разных странах, но нигде она не бывает меньше четверти, а очень часто достигает и половины всего того, что вырастит крестьянин. Во Франции земледелие недавно платило государству до сорока четырёх сотых валового продукта. В Италии бывает и того хуже.

Мало того: доля земельного собственника и государства постоянно возрастает. Как только, ценою невероятных усилий, изобретательности и предприимчивости, крестьянину удастся получить несколько больший урожай — сейчас же дань которую он платит собственнику, государству и банкам, увеличивается соответственно. Если он удвоит число четвертей, получаемых им с десятины, то сейчас же возрастёт арендная плата, а следовательно — обязательно — и налоги, которые государство будет повышать и дальше, если только крестьянин ухитрится получать ещё лучшую жатву. «Платёжная способность» везде, во всём мире —

единственный предел грабежу государства и землевладельца. Повсюду, одним словом, крестьянин работает по 12-ти, по 16-ти часов в день; и повсюду эти три коршуна отнимают у него всё то, что он мог бы сберечь и употребить на дальнейшие улучшения. Повсюду они лишают его именно того, что могло бы послужить для улучшения его хозяйства. В этом и лежит причина застоя в земледелии.

Лишь при случайных, совершенно исключительных условиях — например, если эти три пиявки перессорятся между собою, или же при особенных усилиях изобретательности и особенно напряжённом труде, может удастся крестьянину, на время, незамеченно ими, сделать шаг вперёд. При этом, мы ещё не имели в виду той дани, которую всякий землевладелец платит промышленнику: каждую машину, каждый заступ, каждую бочку химического удобрения ему продают втрое или вчетверо дороже, чем они стоят. Не нужно забывать также и целой тучи посредников, которые берут с продуктов земли львиную долю, — особенно, например, в Англии, где, при продаже земледельческих продуктов, грабёж фермеров железными дорогами и посредниками доходит просто до колоссальных размеров, (сплошь да рядом, английский фермер не получает и трети, а на овощах — и десятой доли того, что платят покупатели). Вот почему в течение всего девятнадцатого века — века прогресса и изобретений — земледелие могло развиваться лишь в очень небольшом числе отдельных местностей, и то — только случайно и временно.

К счастью, кое-где оказывались всегда маленькие оазисы, которые господа коршуны временно оставляли без внимания, и вот на этих-то клочках мы узнаём, что может дать человечеству усиленное хозяйство. Возьмём несколько примеров.

В американских степях (которые, между прочим, дают лишь очень небольшие урожаи, в  $3\frac{1}{2}$  до 6-ти четвертей с десятины, причём им часто вредят также засухи) пятьсот человек производят, работая всего восемь месяцев в году, всё, что нужно для прокормления в течение года пятидесяти тысяч человек. Результат этот достигается здесь благодаря большой экономии труда. На этих обширных равнинах распахивание, жатва и молотба бывают организованы на очень больших фермах почти по-военному: нет ни напрасного хождения взад и вперёд, ни напрасной траты времени — всё происходит с правильностью военного парада.

Это — крупное экстенсивное хозяйство, практикующееся там, где землю берут в таком виде, как она вышла из рук природы, не стремясь её улучшить. Когда она даст всё, что может, её оставляют и уходят дальше, искать девственной земли, которую истощают таким же образом. Но уже в настоящую минуту это хищническое хозяйство исчезает и в Америке. Громадные «мамонтные» фермы в Огайо и в Канадской Манитобе закрыты; земля их разбита на участки, по 200, 100 и даже 50 десятин, и продана фермерам, которые пашут лошадьми, и только складываются обыкновенно вчетвером, чтобы купить в долг жнею-вязалку; молотба же, паровая, производится предпринимателем, который ездит со своею машиною с фермы на ферму, по очереди, чтобы в одно утро или в один день, обмолотить весь хлеб. Но и при этой обработке, также оказывается, что благодаря разным мелким улучшениям (дренаж, ссыпка хлеба в элеваторы и т. д.) работа десяти человек даёт в Чикаго муку, нужную для годового потребления ста человек.

Рядом с этим растёт всё больше и больше усиленное хозяйство, которому

помогают, и всё больше будут помогать, машины: оно стремится главным образом *хорошо* обработать ограниченное пространство земли, удобрить его, сосредоточить весь труд на нём одном и получить таким образом возможно больший продукт. Этот род хозяйства распространяется с каждым годом во всём мире — в том числе и в восточных и даже западных штатах Америки, — и в то время, как в крупных хозяйствах южной Франции на плодотворных степях американского запада довольствуются средним урожаем от пяти до шести четвертей с десятины, на севере Франции мелкие фермеры получают постоянно от 15-ти до 19-ти и даже до 26-ти четвертей, а иногда и до 28-ти четвертей. То, что нужно для годового, сытого прокормленного одного человека, получается, таким образом, с пространства в одну двенадцатую часть десятины.

И что поразительно, это то, что *чем усиленнее хозяйство, тем меньше приходится тратить труда для получения каждой четверти пшеницы*. Машина, в таком случае, заменяет человека во многих предварительных работах, а некоторые улучшения, дающие возможность удвоить урожаи в будущем, — например, осушение (дренирование) почвы или очистка её от камней — производятся раз навсегда. Иногда одно то, что земля глубоко распахивается, даёт возможность получать без всякого удобрения, даже при посредственной почве, из году в год прекрасные урожаи. Так делалось в течение двадцати лет в Ротхамстаде в Англии. Того же результата стали достигать недавно, тоже в Англии (в Southend on Sea); при помощи парового разрыхлителя, который работает, подражая работе крота, копающего лапами землю.

Но не станем уходить в область земледельческого романа: остановимся на урожае в 21 четверть с десятины, не требующем никакой исключительной почвы и никаких необыкновенных машин, а только — разумной обработки. Посмотрим, что означает такой урожай.

Те 3.600.000 жителей, которые населяют два департамента, Сены и Сены с Уазой, — т.-е. Париж и окрестности — потребляют в пищу ежегодно около четырёх миллионов четвертей всякого зерна, — главным образом пшеницы. При упомянутом сейчас урожае, чтобы получить это количество, им нужно было бы, следовательно, обработать около 180.000 десятин из тех 555.000 десятин «удобной» земли, которые находятся в их распоряжении.

Несомненно, они не будут обрабатывать их заступом; для этого потребовалось бы слишком много времени (260 дней по пяти часов каждый на десятину). Они предпочтут улучшить почву раз навсегда: осушить то, что требует осушения, сравнять то, что нужно сравнять, очистить землю от камней — хотя бы для этой предварительной работы потребовалось, скажем, пять миллионов пятичасовых дней, т.-е. в среднем 26–27 дней на десятину.

Затем они вспашут землю, или по крайней мере большую её часть паровым плугом, что возьмёт 4 дня на десятину, и посвятят ещё 4 дня на вторую перепашку и боронование. Семян не будут, конечно, брать наугад, а предварительно рассортируют их паровой сортировочной машиной. Семена эти также не станут бросать на ветер, а посеют рядами, как это уже делается везде. И всё это не возьмёт у них даже 25-ти дней, по 5 часов каждый, если только работа будет производиться

обдуманно и при надлежащих условиях. Если же в течение трёх или четырёх лет они решатся посвятить хорошему ведению земледельческого хозяйства около 10 миллионов дней, то впоследствии они смогут легко получать урожаи в 25 и 30 четвертей с десятины, отдавая этому делу всего половину упомянутого сейчас времени.

Таким образом, для того, чтоб доставить хлеб всему населению, в 3.600.000 человек, потребовалось бы не больше *пятнадцати миллионов* рабочих дней. И все эти работы таковы, что заниматься ими сможет всякий, даже если обладает лишь слабыми мускулами, и раньше никогда не работал на земле. Инициатива и общее распределение работ будет принадлежать тем, кто знает, чего требует земля; что же касается самой работы, то нет такого слабого парижанина или такой захирелой парижанки, которые бы не могли выучиться в течение нескольких часов управлять машиною, отгребать солому, или вообще выполнять так или иначе свою долю земледельческого труда.

Если же мы вспомним, что при теперешнем безобразном общественном строе насчитывается, постоянно, в Париже и окрестностях, — даже оставляя в стороне записных бездельников высшего общества, до ста тысяч человек разных ремёсел, сидящих временно без работы, то мы увидим, что одних тех сил, которые *теряются* попусту при нашей современной общественной организации, было бы достаточно, чтобы произвести, при разумной обработке, всю пищу, необходимую для трёх или четырёх миллионов жителей обоих департаментов. И это, повторяем мы, не сказка. О действительно усиленном хозяйстве, дающем гораздо более поразительные результаты, мы ещё не ведём речь. Мы не упоминали, например, до сих пор об опытах Галлета (в Брайтоне), который, проработав над этим три года, стал получать такой хлеб, что одно зерно даёт куст пшеницы, на котором родится до 600 и до 1000 зёрен, (а иногда и гораздо больше), так что весь хлеб, необходимый для семьи в пять человек, можно было бы вырастить на пространстве в несколько сот квадратных сажень. Мы основываем свои расчёты не на галлетовской обработке хлеба, а только на том, что уже существует у очень многих фермеров, во Франции, в Англии, в Бельгии, во Фландрии, в Ломбардии и т. д., и что можно осуществить во всякое время, при том опыте и знании, которые *уже* выработаны и проверены, не на саженных участках, а в крупных полевых хозяйствах.

Но без Революции ничего этого не будет ещё много лет спустя, потому что это совершенно не выгодно для тех, кто владеет землёю и капиталом; крестьяне же, для которых это было бы действительно выгодно — если бы не выше названные три коршуна, — не обладают для этого ни необходимыми знаниями, ни деньгами, ни временем.

Современное общество ещё не дошло до этого. Но пусть только парижане провозгласят у себя анархическую коммуну — и они будут вынуждены силою обстоятельств дойти до этого, потому что не окажутся же они, в самом деле, настолько глупыми, чтобы продолжать выделять всякие мелочи для украшения комнат, (которые, между прочим, так же хорошо делают и в Вене, и в Варшаве, и в Берлине), а тем временем — сидеть без хлеба.

Кроме того, земледельческий труд с помощью машин стал бы скоро самым

привлекательным и самым весёлым из всех видов труда.

«Довольно с нас ювелирной дряни, выделяваемой в Париже, довольно костюмов для кукол» скажут себе парижские рабочие. «Идём в поле — набираться там свежих сил, свежих впечатлений природы, и той «радости жизни», которую люди забыли в своих мрачных мастерских, в рабочих кварталах».

В средние века альпийские пастбища лучше помогли швейцарцам избавиться от помещиков и королей, чем копы и пищали. Современное земледелие даст точно так же возможность восставшему городу отстоять свою свободу против буржуазии всех стран, которая несомненно ополчится против Коммунистической Коммуны.

### III.

Мы видели, каким образом три с половиной миллиона жителей двух департаментов (Сены и Сены с Уазой) могли бы доставить себе в изобилии необходимый хлеб, возделавши под хлеб всего треть своей земли. Перейдём теперь к скотоводству.

Англичане, которые вообще едят много мяса, потребляют, в среднем, немного меньше 200 фунтов мяса в год, на каждого взрослого человека. Если считать, что всё это — бычачье мясо, то выйдет немного менее трети быка. Таким образом, если взять одного быка в год на пятерых (считая в том числе детей), то получится уже предостаточная порция. На три с половиной миллиона жителей это составит ежегодное потребление около 700.000 голов скота.

При теперешней системе пастбищ, для прокормления 700.000 голов скота требуется по крайней мере два миллиона десятин. Но даже при очень скромном орошении лугов водой из источников (какое практикуется с недавнего времени в широких размерах в юго-западной Франции), было бы достаточно уже 500.000 десятин, а при усиленном хозяйстве, при употреблении на корм свёклы, брюквы и т. п., и при травосеянии, требуется не более четверти этого пространства, т.-е. 125.000 десятин. Если же употреблять в дело кукурузу и практиковать «силосование» (свежесрезанный корм укладывается в особые ямы и прессуется), то весь необходимый корм можно получить с площади в 85.000 десятин.

В окрестностях Милана, где для орошения лугов пользуются сточными трубами, на пространстве 8100 орошаемых таким образом десятин получается с каждой десятины достаточно корма для 4–6 голов рогатого скота: а на некоторых, особенно благоприятно поставленных лугах удавалось собирать до 49 тонн (3100 пудов) сухого сена с десятины, т.-е. ежегодный корм для десяти дойных коров. Три десятины земли на каждую голову пасущегося рогатого скота, с одной стороны, а с другой стороны — десять быков или коров, кормящихся с десятины — таковы крайние точки современного земледелия.

На острове Джерзее из 3600 десятин удобной и обрабатываемой земли, около половины (1730 десятин) покрыты пашнями и огородами, и всего 1910 десятин остаются для лугов. Но на них кормится: 1480 лошадей, 7260 голов скота, 900

баранов и 4200 свиней, что составляет больше трёх голов рогатого скота на десятину, не считая ещё лошадей, баранов и свиней. Нечего и говорить о том, что плодородие этой почвы развивают искусственно, удобряя её водорослями и особенно химическим удобрением.

Если мы теперь вернёмся к нашим трём с половиною миллионов жителей Парижа с окрестностями, то мы увидим, что площадь необходимая для выращивания скота, который им нужен для пищи, сводится с двух миллионов десятин на 80.000. Но не станем брать самой низкой цифры: возьмём цифру, которую даёт обыкновенно хорошо ведённое хозяйство, и прибавим даже больше чем нужно земли для мелкого скота. Положим, таким образом, на выращивание скота 160.000, пожалуй даже 180.000 десятин, из тех 400.000 которые остались у нас, после того, как мы снабдили хлебом всё население. Будем щедры, и положим на обработку этого пространства пять миллионов рабочих дней.

Таким образом, употребив в течение года двадцать миллионов рабочих дней, — из которых половина приходится на постоянные улучшения, — мы будем обеспечены хлебом и мясом, не включая сюда всей той добавочной мясной пищи, которую можно получить от птицы, откормленных свиней, кроликов и проч., и не принимая во внимание того, что население, имеющее в своём распоряжении прекрасные овощи и фрукты, будет потреблять гораздо меньше мяса, чем англичане, которые пополняют животной пищей недостаток растительной.

Двадцать миллионов дней по пяти часов в день, сколько же это составит на каждого жителя. В сущности, очень немного. Население в три с половиною миллионов должно заключать в себе по крайней мере 1.200.000 взрослых мужчин и столько же женщин способных работать; следовательно для доставления всем хлеба и мяса потребуются всего, — считая одних только мужчин, — 17 рабочих дней в год. Прибавим ещё три миллиона дней для того, чтобы иметь молоко, затем накинём ещё столько же на всякий случай, — и мы всё-таки ещё не получим даже *25-ти дней по пяти часов каждый*, т.-е. просто *несколько дней в году; приятно проведённых в деревне, для получения трёх главных продуктов: хлеба, мяса и молока*. А между тем, это продукты, которые, после квартиры, составляют главную и неустанную заботу девяти десятых человечества.

Повторяем, однако, ещё раз, — мы нигде ещё не заходили в область фантазии; мы только рассказывали о том, что *существует*, что уже широко практикуется и подтверждено в крупных размерах опытом. Чтобы достигнуть только этого, земледелие можно было бы преобразовать *хоть завтра*, если бы только этому не мешали законы о собственности и общее невежество.

В тот день, однако, когда Париж поймёт, что знать, чем кормятся люди, и как производятся нужные им пищевые продукты — обязательно для всех, и когда парижане сообразят, наконец, что вопрос о хлебе несравненно важнее всех возможных прений в Парламенте или в муниципальном совете, — в тот день Революция совершится. Париж возьмёт тогда в свои руки земли обоих департаментов и начнёт их обрабатывать. Парижанин, отдававший в продолжение всей своей жизни треть своего существования на то, чтобы заработать на что *купить* недостаточную по количеству и плохую по качеству пищу, будет теперь производить

её сам, под самыми стенами города, внутри черты своих фортов (если только они уже не будут скрыты) и будет получать её ценою всего [в] несколько дней здорового и привлекательного труда.

Перейдём теперь к фруктам и овощам. Выйдем из пределов Парижа и осмотрим одно из тех огороднических заведений, которые, в нескольких верстах от разных академий, проделывают чудеса, неизвестные учёным политико-экономам. Остановимся, например, у г. Понса, автора известного сочинения об огороднической культуре (*culture maraîchère*), — огородника, не скрывающего, сколько приносит ему земля и подробно рассказавшего и [про] своё хозяйство и свои приходы и расходы. Нужно сказать, что г. Понс, а в особенности его рабочие, работают, как волы. Их восемь человек, и они обрабатывают немногим больше одного гектара — т.-е. ровно десятину земли. Работают они по двенадцати и по пятнадцати часов в день, т.-е., втрое больше чем нужно; так что, если бы их было двадцать четыре человека вместо восьми, то не было бы ни одного лишнего. Конечно, Понс, вероятно, скажет нам на это, что за свои 11.000 квадратных метров земли (десятину) он платит ежегодно, в виде аренды собственнику земли и налогов милому государству, чудовищную сумму в 2500 франков, т.-е., *тысячу рублей* (вот они, коршуны, о которых говорилось выше); затем навоз, покупаемый им в казармах, обходится ему около 2500 франков, т.-е., тоже около 1000 рублей. «Таким образом, скажет он, мне поневоле приходится быть эксплуататором; меня эксплуатируют и я эксплуатирую в свою очередь». Обзаведение стоило ему тоже 30,000 франков, из которых несомненно больше половины пошло разным тунеядствующим промышленным баронам и добрая доля спекуляторам на деньги. В общем, его обзаведение представляет, однако, наверно не больше 3.000 рабочих дней, а по всей вероятности даже гораздо меньше.

Посмотрим же теперь на его урожай. Он получает в год 670 пудов моркови, 610 пудов лука, редиски и других мелких овощей, 6.000 кочанов капусты, 3.000 кочанов цветной капусты, 5.000 корзин томат (помидоровъ), 5.000 дюжин отборных фруктов, 154.000 корней салата — одним словом, в общем 7625 пудов овощей и фруктов на пространстве почти одной десятины: 50 сажен в длину и 46 сажен в ширину. Это составляет больше *125 тонн овощей с десятины!*

Но человек не съедает больше 600 фунтов овощей и фруктов в год; а следовательно каждая десятина такого огорода даёт в изобилии всё, что нужно по части фруктов и овощей для стола 380 взрослых людей в течение целого года. Таким образом, 24 человека, работая целый год над обработкой десятины земли, но посвящая на это всего по пяти часов в день, произвели бы количество овощей, достаточное для 380 взрослых людей, что соответствует, по крайней мере, 500 душам населения.

Иначе говоря, при такой обработке, как у Понса — а в других местах пошли уже гораздо дальше — 380 взрослых людей должны были бы отдать, каждый немного больше 100 часов в год (103 часа), чтобы получить все овощи и фрукты, нужные для 500 душ населения.

Заметим при этом, что такая обработка — вовсе не исключение: 5000 огородников занимаются в предместьях Парижа на пространстве 800 десятин точь-в-точь таким же огородничеством. Дело только в том, что эти огородники доведены

до состояния выючных животных, благодаря необходимости платить *ренду*, *средним числом в две тысячи франков с гектара, т.-е. 880 рублей с десятины.*

Не доказывают ли однако эти факты, (которые каждый может сам проверить), что 6.400 десятин (из тех 190.000 десятин, которые у нас оставались) было бы достаточно для того, чтобы дать нашим трём с половиною миллионам жителей всевозможные овощи и значительное количество фруктов?

Что же касается до количества труда, необходимого для получения этих фруктов и овощей, то оно составит, (если мы примем за мерило труд этих огородников), 50 миллионов пятичасовых рабочих дней, т.-е., около пятидесяти рабочих дней на каждого взрослого мужчину. Но мы увидим сейчас, что этот труд можно значительно сократить, если прибегнуть к приёмам, обычным на островах Джерзее и Гернзее. Мы напомним только, что если огороднику приходится теперь так много работать, то это зависит от того, что он выращивает главным образом ранние овощи и фрукты, — землянику в январе, персики в начале лета, и т. п., продажа которых по высоким ценам и даёт ему возможность выплачивать баснословно высокую арендную плату за землю. Кроме того, самые его приёмы хозяйства заставляют его работать больше, чем нужно в действительности. Не имея возможности затратить крупных сумм на первоначальное устройство (при котором он платит очень дорого и за стекло, и за дерево, и за железо и за уголь), он вынужден получать нужную ему искусственную теплоту при помощи навоза, тогда как ту же теплоту можно получить гораздо дешевле с помощью угля и теплиц.

#### IV.

Для получения этих баснословных урожаев огородникам приходится, как мы видели, обращаться в машины и отказываться от всех радостей жизни; но во всяком случае эти труженики оказали человечеству громадную, неоценимую услугу тем, что они научили нас *делать самим себе нужную почву*. Они употребляют для этого навоз, уже отслуживший для доставления нужной теплоты молодым растениям в парниках, и количество лёгкой садовой земли, получаемой ими, так велико, что часть её им приходится продавать каждый год, иначе уровень их огородов повышался бы ежегодно на один дюйм или больше. Огородник так хорошо понимает это, что за последнее время, в контракты, заключаемые огородниками с землевладельцами, стал вводиться пункт, в силу которого огородник имеет право *увезти с собою свою землю*, когда он оставит обрабатываемый им участок (этот факт упоминается, между прочим, в статье *Marâchers* «Земледельческого Словаря» Барраля). Земля, увозимая на телегах вместе с мебелью и тепличными рамами, вот ответ земледельцев-практиков на соображения Рикардо, который представлял земельную ренту как средство уравнивать последствия *природных* преимуществ той или другой почвы. У французских же огородников идёт поговорка: «Чего стоит человек, того стоит земля».

И при всём этом, парижские и уранские огородники работают, для получения тех же результатов, втрое больше, чем их гернзейские собратья. Эти последние прилагают к земледелию промышленные приёмы и делают искусственно не только



почву, но также и климат.

В самом деле, всё огородническое хозяйство сводится к следующим двум началам:

I. Сеять под стеклом; пересадить и выращивать молодые отсадки в богатой почве, на ограниченном пространстве, где за ними можно тщательно ухаживать. Затем, когда их корни хорошо разрастутся в пышные пучки, пересадить их туда, где растение должно достигнуть полного роста. Одним словом, — поступать с ними так, как поступают с молодыми животными, т.-е., окружать их заботами с самого раннего возраста.

II. Чтобы урожаи поспевали вовремя — нагревать почву и воздух, покрывая растения рамами со стеклом или стеклянными колпаками и развивая в земле теплоту брожением навоза.

Пересадка и температура, более высокая, чем температура окружающего воздуха — такова вся сущность огороднической культуры, раз почва уже приготовлена искусственно. Первое из этих условий, как мы видели, уже осуществляется и требует лишь некоторых мелких усовершенствований. Для осуществления же второго, нужно нагревать землю и воздух, заменяя навоз тёплой водой, проходящей по трубам, проведённым или в земле, под рамами, или же отоплением теплиц.

И это уже делается. Парижский огородник уже получает при помощи *термосифона* ту теплоту, которую раньше ему давал навоз, а английский, т.-е., джерзеевский и гернзеевский, а также бельгийский огородник прибегают к постройке теплиц.

Теплица была прежде роскошью, доступною лишь богатому человеку, который пользовался ею для выращивания тропических или, вообще, составляющих предмет роскоши растений. Но теперь она становится общераспространённой: на островах Джерзее и Гернзее целые десятины земли покрыты стеклом, не говоря уже о тех маленьких теплицах, которые можно встретить на Гернзее в каждой ферме, в каждом огороде. В окрестностях Лондона, а также в Уорзинге и других местах, начинают также покрывать стеклом целые поля, и с каждым годом в предместьях столицы воздвигаются тысячи новых маленьких теплиц. Эти теплицы бывают самые разнообразные, начиная от роскошного здания с гранитными стенами и кончая скромной дощатой постройкой с стеклянною крышею, которая даже при всех существующих капиталистических пиявках, стоит не больше 7–9 рублей за квадратную сажень. Их отопляют (или далее, не отопляют, потому что, если только не стремиться получать очень ранние продукты, то достаточно уже просто закрытого пространства), и выращивают там уже не виноград и не тропические растения, а картофель, морковь, горох или бобы.

Таким образом, огородник избавляется от влияния климата. Вместе с тем он избегает тяжёлой работы накладывания слоёв навоза, и не имеет нужды покупать столько навоза, который дорожает по мере того, как спрос на него растёт; часть человеческого труда устраняется: для того, чтобы обработать десятину земли под стеклом и получить те же результаты, что у Понса, требуется уже не больше семи

или восьми человек. Действительно, на Джерзее семь человек, работая по 60 часов в неделю, получают с десятины такие урожаи, для которых прежде нужны были десятки десятин земли. Мы могли бы указать на многие замечательные примеры, но ограничимся одним из них. Вот что получают на Джерзее из года в год 34 человека рабочих, под руководством одного огородника, обрабатывающие тепличным способом немного больше трёх с половиною десятин (будем считать, что если бы они работали всего по пяти часов в день, на это потребовалось бы 70 человек): 1525 пудов винограда, который собирают уже в начале мая, 4880 пудов томат, 1830 пудов картофеля (в апреле), 366 пудов горошка и 122 пуда фасоли, собираемых в мае, — т.-е. в общем 8723 пуда фруктов и овощей, не считая получаемого в некоторых теплицах второго, очень значительного урожая, не считая ни огромной теплицы для растений, составляющих предмет роскоши, ни сбора с различных растений, посаженных на открытом воздухе между теплицами.

Восемь тысяч семьсот двадцать три пуда овощей и фруктов! Этого достаточно, чтобы обеспечить обильной пищей на целый год больше чем 1.500 человек, а для получения её потребовалось бы всего 21.000 рабочих полудней, т.-е. 210 часов в год, если считать, что из всего взрослого населения этой работой займутся 500 человек. Прибавьте к этому приблизительно 1000 тонн угля (ежегодный расход на отопление таких теплиц для пространства около 4-х десятин), которые составят, для этих пятисот человек, добавочный труд в 6–7 часов в год на каждого, так как в Англии один рабочий легко добывает в течение девятичасового рабочего дня 3 тонны.

Таким образом, если бы половина всего взрослого населения посвящала выращиванию фруктов и овощей, *вне обычного рабочего времени*, ежегодно около пятидесяти полудней, то все могли бы иметь в изобилии круглый год продукты, составляющие теперь предмет роскоши, хотя их и пришлось бы выращивать в теплицах. При этом, второй урожай в тех же самых теплицах давал бы ещё значительное количество обыкновенных овощей, которые в таких заведениях, как у Понса, требуют, как мы видели, пятидесяти рабочих дней.

Всё это — нам заметят, может быть, — продукты, составляющие предмет роскоши. Это так, но теплица уже всё больше и больше превращается в простой огород под стеклом, и самой несложной стеклянной постройки, слегка отапливаемой в течение трёх месяцев, оказывается достаточно для получения баснословных урожаев овощей: в конце апреля получают, например, около 300 четвертей картофеля с десятины; затем землю удобряют и с мая до конца октября собирают с неё, благодаря высокой, почти тропической температуре, установившейся под стеклянной крышей, ряд новых урожаев.

Теперь, для получения тех же 300 четвертей картофеля приходится ежегодно вспахивать около 20 десятин или даже больше, сажать и впоследствии окапывать молодые растения, полоть сорные травы и т. д. Всё это стоит очень много труда. Между тем, при существовании теплиц, для начала придётся, может быть, употребить приблизительно по два дня работы на квадратную сажень, но зато, когда эта предварительная работа будет окончена, в будущем можно будет сберечь по крайней мере половину, если не три четверти, труда.

Всё это — факты, всё это — уже достигнутые, установленные, хорошо

известные результаты, в которых каждый может сам удостовериться, если только потрудится осмотреть огороднические хозяйства. И этого нам уже достаточно для того, чтобы составить себе некоторое понятие о том, что может дать человеку земля, если только он будет умело с нею обращаться.

## V.

Мы говорили до сих пор исключительно о методах, уже принятых и отчасти осуществлённых на практике. И усиленная обработка полей, и орошение их из сточных труб, и огородническое хозяйство, и огородные теплицы — всё это уже существует в действительности. Леоне де Лавернь был совершенно прав, когда ещё тридцать лет тому назад предсказал, что земледелие будет стремиться всё больше и больше уменьшать обрабатываемую площадь земли, создавать искусственно нужную почву и нужный климат, сосредоточивать на данном пространстве всё больше и больше труда, и, таким образом, осуществлять все условия, благоприятные для жизни растений.

Первоначальный толчок к этому дан был стремлением выручить как можно больше денег из продажи ранних овощей и фруктов. Но с тех пор, как найдены приёмы усиленной обработки земли, они распространяются всё шире и шире и применяются теперь даже к самым обыкновенным овощам, потому что они дают возможность получать *большой* урожай с *меньшим* трудом и риском.

В самом деле, в дешёвых дощатых оранжереях, устраиваемых на Гернзее, мы видим, что в общем требуется *гораздо меньше* труда для того, чтобы вырастить картофель под стеклом к апрелю, чем чтобы получить его тремя месяцами позднее, с открытого поля в пять раз больших размеров, которое нужно вспахать, полоть и т. д. Это совершенно то же самое, что происходит с орудиями и машинами: более совершенное орудие даёт нам возможность выиграть на сберегаемом труде, хотя бы для покупки этого орудия потребовался значительный предварительный расход.

У нас нет ещё пока достаточных данных относительно разведения под стеклом обыкновенных овощей; этот род хозяйства введён ещё очень недавно и практикуется лишь на небольших пространствах. Но у нас есть цифры, относящиеся к разведению (практикующемуся уже в течение тридцати лет) одного предмета роскоши, а именно винограда, и эти цифры очень красноречивы.

На севере Англии, на шотландской границе, где уголь сто́ит, вблизи самих каменноугольных копей, всего два рубля тонна, уже давно выращивают виноград в теплицах. Тридцать лет тому назад этот виноград, созревавший в январе, продавался огородниками по 10 рублей фунт, а затем перепродавался для стола Наполеона III по 20 рублей фунт. Теперь же тот же самый огородник продаёт его всего по рублю двадцати копеек фунт — как он сам недавно сообщил в статье, помещённой в одном специальном огородническом журнале. Зависит это от того, что другие конкуренты также посылают в Лондон и Париж целые тонны винограда. Благодаря дешевизне угля и умелой обработке, виноград выращивают зимою на севере и, в противоположность другим фруктам, посылают с севера на юг. В мае английские и

джерзейские огородники продают фунт винограда по 80 копеек, и то эта цена — как и цена в двадцать рублей тридцать лет тому назад — держится только благодаря редкости продукта. В октябре виноград, выращиваемый в огромных количествах в Англии и на Джерзее — под стеклом и при небольшом искусственном отоплении — продаётся немногим дороже, чем виноград, купленный где-нибудь в швейцарских или рейнских виноградниках, т.-е. по 6 пенсов (25 коп.) за фунт. И эта цена ещё по крайней мере на две трети выше, чем следовало бы; она устанавливается только потому, что тот, кто разводит виноград, платит слишком большую арендную плату, и кроме того торговцы и посредники берут с него слишком большой процент со всех расходов по устройству и отоплению. Можно поэтому сказать, что получать виноград осенью, даже под широтою Лондона и под лондонским туманным небом, можно *почти даром*. Так, в одном из городских предместий ничтожная постройка из стекла и цемента длиною немногим больше чем в 4 аршина и шириною около трёх, прислонённая к нашему домику, даёт нам возможность получать, вот уже три года, каждый октябрь, больше 50 фунтов прекрасного винограда от шестилетней виноградной лозы<sup>[22]</sup>. А между тем постройка так плоха, что дождь льёт через крышу. Ночью в ней всегда такая же температура как и снаружи, и её, конечно, не отапливают: это было бы всё равно, что отапливать улицу. Уход ограничивается тем, что раз в год растение подстригают (это берёт полчаса), а затем привозят тачку навоза, которым обкладывают корень, посаженный вне постройки, в глинистой почве.

Припомним, с другой стороны, сколько труда кладётся в виноградники на берегах Рейна или Женевского озера, где на склонах гор приходится строить камень за камнем террасы, а навоз и иногда землю — носят на плечах на высоту двухсот или трёхсот футов, — и мы поймём, что в-общем требуется больше труда для разведения виноградников в Швейцарии или на берегах Рейна, чем под стеклом в лондонских предместьях.

С первого взгляда это может показаться невероятным, потому что мы привыкли думать, что на юге виноград растёт сам собою, и что труд возделывающих его людей ничего не стоит. Но специалисты, садовники и огородники, наоборот, подтверждают наше заключение. «В Англии самый выгодный род земледелия, это — разведение винограда», говорит один садовод-практик, издатель английского садоводного журнала. То же можно вывести, впрочем, и из сравнения цен.

Переводя это на коммунистический язык, мы можем сказать, что посвящая *каких-нибудь двадцать часов в год* из своего досуга на уход — в сущности очень приятный — за несколькими виноградными лозами, посаженными под стеклом, в любом европейском климате каждый из нас мог бы получать столько винограда, сколько он может съесть в своей семье или с друзьями. И то же можно сказать не только о винограде, но и обо всех плодах, растущих в нашем климате.

Если бы, поэтому, какая-нибудь община применила приёмы мелкого огородничества и плодоводства в крупных размерах, она могла бы получать в изобилии всевозможные овощи и всевозможные туземные и иностранные фрукты, причём каждый из её членов посвящал бы на это не больше нескольких десятков часов в год.

Всё это можно проверить когда угодно на опыте. Для этого стоило бы только

небольшой группе рабочих прекратить на время производство тех или иных предметов роскоши и посвятить свой труд, хотя бы превращению равнины Женневилье (в окрестностях Парижа) в ряд огородов, с отопляемыми стеклянными постройками для защиты всходов и молодых растений, и кроме того, устроить на пространстве, десятин в пятьдесят, ряд экономно построенных теплиц для фруктов — предоставив, конечно, подробности организации опытным садовникам и огородникам.

На основании средних данных, которые даёт нам Джерзей, т.-е., принимая, что для ухода за растениями под стеклом нужно 7–8 человек на десятину, т.-е., меньше 240.000 рабочих часов в год, мы увидим, что для обработки 135 десятин понадобилось бы в год приблизительно 3.500.000 часов труда. Сто знающих огородников могли бы отдавать этому делу по пяти часов в день; всё остальное делали бы не профессиональные огородники, но просто люди, умеющие обращаться с заступом, граблями или поливальной кишкой, или смотреть за печкой.

Эта работа дала бы — как мы уже видели в одной из предыдущих глав — по меньшей мере все необходимые овощи и фрукты и даже всю возможную в этом отношении роскошь для 75.000 или 100.000 человек. Допустим, что из них 36.000 изъявили бы желание заниматься огородничеством. Каждому из них пришлось бы тогда посвятить на это 100 часов в год, распределённых на протяжении всего года; и это время явилось бы для них временем отдыха в кругу друзей и детей, в прекрасных садах — лучших, по всей вероятности, чем сказочные сады Семирамиды<sup>[23]</sup>.

Мы видим, таким образом, какое количество труда нужно для того, чтобы получить в изобилии и фрукты, которых мы должны лишать себя теперь, и овощи, которые стольким матерям приходится осторожно делить между членами своей семьи, чтобы выгадать гроши, служащие для обогащения капиталистов и вампиров-домохозяев.

Пусть бы только человечество сознало, что оно *может* сделать, и пусть бы это сознание дало ему силу *захотеть* этого! Пусть бы только оно поняло, что тот подводный камень, о который разбивались до сих пор все революции, это — умственная трусость!

## VI.

Нетрудно видеть, какое будущее откроется тогда перед социальной революцией.

Всякий раз, когда мы говорим о социальной революции с серьёзным рабочим, которому приходилось видеть в своей жизни голодающих детей, он нахмуривается и упорно ставит нам вопрос: «А откуда взять хлеб? Хватит ли его всем, если каждый будет есть досыта? А что если невежественная деревня, настроенная реакционерами, захочет морить голодом горожан, как она морила их в 1793 году?»

Но пусть только деревня попробует! Тогда большие города сумеют обойтись без

неё.

Куда, в самом деле, употребят свободное время те сотни тысяч рабочих, которые задыхаются теперь на фабриках или в мастерских? Неужели они и после революции будут продолжать сидеть взаперти? Неужели они будут продолжать выделывать разные мелкие предметы роскоши на вывоз, даже когда они увидят, что хлеб выходит, что мяса становится мало, что овощи исчезают и заменить всего этого ничем?

Конечно, нет! Они несомненно выйдут из города в поле, а там машины даже самым слабым из них дадут возможность принять участие в общем труде; они внесут таким образом в старое земледельческое хозяйство ту же революцию, которая уже будет совершена в учреждениях и идеях.

В одном месте сотни десятин покроются стеклянными кровлями, и как мужчины, так и женщины с нежными руками будут ухаживать там за молодыми растениями. В другом вспашут сотни десятин паровым плугом и улучшат почву при помощи удобрения или размельчённого графита и известняка. И под руками этой весёлой толпы случайных хлебопашцев, поля покроются богатыми жатвами; руководить работой будут конечно люди, знающие земледелие, главным же образом — великий практический ум народа, пробудившегося от долгого сна и идущего вперёд по пути, освещённому ярким маяком всеобщего счастья.

И вот, уже через два-три месяца первая жатва удовлетворит насущным потребностям и обеспечит пищу народу; после стольких веков ожидания он сможет впервые наесться досыта.

В то же время народный гений — гений народа, восставшего и сознавшего свои потребности — будет работать над введением новых приёмов земледелия, — приёмов, которые мы предчувствуем уже и теперь, но которые ещё требуют проверки на опыте. Тогда будут произведены опыты над влиянием света — этой не оценённой ещё в земледелии силой, которая даёт возможность ячменю созреть в 45 дней в якутском климате; сконцентрированный солнечный свет, или искусственный свет будет соперничать с теплотой в деле ускорения роста молодых растений. Какой-нибудь будущий Мушо изобретёт машину, которая сможет направлять и заставлять работать солнечные лучи, вместо того, чтобы добывать из недр земли солнечную теплоту, заложенную там в виде угля. Будут сделаны опыты над орошением земли культурами микроорганизмов — мысль вполне рациональная, но ещё новая, осуществление которой даст вероятно возможность разводить в земле живые клеточки, необходимые растениям как для питания их корешков, так и для разложения составных частей почвы.

Испробуют... но нет, лучше не будем вдаваться в область фантазии. Останемся на почве установленных фактов. Уже те приёмы земледелия, которые существуют теперь, которые прилагаются в крупных размерах и успешно выдерживают торговую конкуренцию, могут дать нам и довольство и роскошь, требуя взамен лишь небольшое количество приятного труда. Недалёкое будущее покажет нам, какие практические применения, которые мы отчасти угадываем и теперь, скрыты в недавних научных открытиях.

Пока мы ограничимся тем, что наметили новый путь — путь изучения потребностей и средств к их удовлетворению.

Единственное, чего может не хватить революции, это — смелого почина. Забитые с самой школы, рабы прошлого в зрелом возрасте и до самой смерти, мы почти не смеем думать. Когда появляется какая-нибудь новая идея, мы, прежде чем выработать себе собственное мнение о ней, справляемся с книгами, писанными сто лет тому назад, чтобы узнать, что думали об этом старые мудрецы.

Но если у революции хватит смелости мысли и смелости почина, то в жизненных припасах она нужды терпеть не будет.

Из всех великих дней 1789–93 гг. Революции самым прекрасным, самым великим днём, который навсегда запечатлелся в умах — был день, когда собравшиеся со всех сторон участники праздника Федерации работали, как землекопы, на Марсовом поле, приготавливая его к празднеству. В этот день Франция действительно была едина: одухотворённая новыми веяниями, она как бы провидела будущность, открывавшуюся перед нею в общем труде над обработкой земли. Этот же общий труд на земле объединит в возродившееся общество, изглаживая в нём все следы вражды и угнетения, разбивающих его теперь на части.

Новое общество поймёт, что такое солидарность — этот великий двигатель, увеличивающий во сто раз энергию и творческую силу человека, и пойдёт со всею энергией молодости на завоевание будущего. Оно перестанет производить на неизвестных покупателей и обратится к потребностям и вкусам, существующим в его собственной среде; оно обеспечит всем своим членам и существование, и довольство, и то нравственное удовлетворение, которое даёт свободно избранный и свободно выполняемый труд, и наслаждение жить, не мешая жить другим. Полные смелости, вдохновляемые чувством взаимности, люди все вместе двинутся вперёд, на завоевание тех высоких наслаждений, которые даёт научное знание и художественное творчество.

Обществу, проникнутому таким духом нечего будет бояться ни внутренних раздоров, ни внешних врагов. Всем силам прошлого оно противопоставит свою привязанность к новому порядку вещей и смелую инициативу, как каждой личности в отдельности, так и всех вместе, — ту геркулесову силу, которую придаст ему пробуждение его гения.

И против этой непреодолимой силы никакие «соединённые короли» не смогут сделать ничего. Им останется только преклониться перед нею и впрячься в свою очередь в общую колесницу человечества, уносящего его к новым горизонтам, открытым Социальною Революцией.

# Примечания



В оригинале ошибочно - «Хлеб и Воля.» — Прим. ред. FB2

Письмо в 1890 г.

Ватрен был надсмотрщик, ненавидимый рабочими и убитый в восьмидесятых годах. Тома был генерал, убитый 18 марта 1871 года. Это была единственная казнь, совершённая народом в этот день провозглашения Коммуны.

Pour banal. Во Франции до сих пор в деревнях, где сохранились общинные порядки, встречается общинная печь, где хозяева по очереди пекут хлеб, другая общественная печь для стирки, общинный пресс для выдавливания вина из винограда и т. д.

Якобинские историки рассказывают, что Вандейское восстание было всецело делом попов и королевцев. Но правда на счёт этого далеко ещё не выяснена. Несомненно, что Вандейские крестьяне поднялись, главным образом, против военных наборов, против закона, в силу которого общинные мирские земли, имевшиеся в каждой деревне, должны были быть поделены поголовно, между одними «лошадными» хозяевами, — вообще против города, глупо распоряжавшегося деревней.

Gennevilliers — громадные поля около Парижа, орошаемые водою из водосточных труб на которых тысячи огородников разводят всевозможные овощи, сбываемые в Париже и вывозимые даже в Англию.

Декрет от 30-го марта; в силу этого закона прощались платежи, следовавшие с квартирантов в октябре 1870-го года, а также 1-го января и 1-го апреля 1871-го года.

Тут человечеству откроется невероятно-широкое поприще для изобретения. Возьмите например, шёлк. В продолжение тысячелетия шёлк (а следовательно и бархат) считался предметом высокой роскоши. Страны, где растёт шелковица ограничены известною полосой; уход за шелковичным червём труден, и т. д. Теперь делают шёлк из древесной массы на фабриках; необозримые канадские леса дают шёлк, и шелка, которые теперь делают в Америке из древесной массы, до того хороши, что не уступают лучшим лионским шелкам, ни в цветах, ни в упругости ткани, ни в прочности. Их носят уже самые отчаянные модницы. — Ну, а насчёт бриллиантов, — есть тысячи и тысячи женщин, которые узнавши, как в Африке, в Мафекинге, мучают негров, чтобы добывать их, навсегда закаялись носить бриллианты. Но придёт время — и бриллианты будут добывать в мастерской.



С тех пор, как эти строки были написаны, уже выдумана машина, позволяющая писателю самому делать набор. Для писателя, привыкшего писать на пишущей машине, (а в Америке это становится обычным делом), нет абсолютно никакого затруднения самому набирать своё произведение.

Этот факт был обнародован известным учёным Плейфером, который рассказал об этом после смерти Джоуля.

Коммунисты Молодой Икарии поняли, по-видимому, как важно предоставить людям свободу выбора в ежедневном общении их между собою, помимо работы. Идеал религиозных коммунистов был всегда связан с общей трапезой; первые христиане именно в общей трапезе выражали своё присоединение к христианству, и следы этого до сих пор сохранились в причастии. Молодые Икарийцы порвали с этой религиозной традицией. Они обедают все в одной комнате, но за отдельными столиками, где люди усаживаются, смотря по своим личным симпатиям. Коммунисты, живущие в Анаме, имеют свои отдельные домики и обедают у себя, хотя всю нужную им провизию берут в общинных магазинах — сколько кто хочет.

См. нашу брошюру о тюрьмах («Les prisons», Париж, 1889).

См. между прочим „Распадение Современного Строя“.

Испанские анархисты, ещё продолжающие называться коллективистами, иначе понимают это слово. Они подразумевают под ним вообще владение орудиями труда, а затем, — представление каждой группе свободы распределять продукты, как она хочет — на основании ли коммунистических принципов, или каких бы то ни было других.

Против этой фразы мне возражал кто-то из немецких социал-демократов, ссылаясь на одно длинное примечание Маркса в конце VI главы *Капитала* (французский текст; стр. 143 русского перевода, изд. 1872 года). Между тем, в этом примечании Маркс говорит только, что часто (*souvent*) различие между сложным и простым трудом на практике бывает неосновательно. Оно ничем не опровергает теории, развитой раньше в VI-ой главе (стр. 119 русск. перевода) и замечания на счёт коллективизма в I-ой главе, а только указывает, что в практике различие нередко устанавливается совершенно произвольно. Так же, как мною, Маркс был понят многими из своих последователей.

В этом отношении весьма поучительно у Маркса начало XXIV-ой главы французского, пересмотренного им текста «Капитала» (в русском переводе Лопатина, стр. 504–5, и следовательно в немецком издании, с которого он переводил, ничего этого нет), где доказывается, что при капиталистическом обмене, рабочая сила покупается «*по своей действительной цене (à son juste prix)*». Всё, что последний (т. е. рабочий) требует, это — чтобы капиталист уплатил ему ценность его рабочей силы». Это он и получает. Замечу мимоходом, что без этого допущения (Нунпан отлично это понял) нельзя было основать теорию прибавочной стоимости.



С тех пор как это было написано, Соединённые Штаты стали действительно производить излишек пшеницы и особенно маиса. Но зато, целой массы других продуктов земледелия ещё производится недостаточно. Хлеб в Соединённых Штатах и несколько миллионов аршин миткаля в Англии — вот всё, чего производится излишек, свыше местных потребностей.

Подробнее этот вопрос разобран в книге, *Fields, Factories and Workshops*, 1-е издание в 1900 году, следующие в 1901-м году.

Fields, Factories and Workshops; дешёвые издания в 1901-м году (французский перевод готовится к печати).

Замечу, что когда я напечатал эти взгляды в Англии, в 1888-м году в Nineteenth Century, они не только не встретили никаких возражений, но получили подтверждение со стороны редактора „Журнала Садоводства“ — практического садовода — который пошёл ещё дальше меня, доказывая, что „где уголь дешёв, там и виноград дешёв“. Я уверен также, что со мною вполне согласятся и французские огородники.

См. «Repartition métrique des impôts» A Toubeua (2 тома, изданные у Gullaumin в 1880-м году. Мы нисколько не разделяем заключений автора, но его книга — настоящая энциклопедия, с указанием источников, откуда можно узнать, что способна нам дать земля. Затем: Ponce «La culture maraîchère» (1869 г.) «Le Potager Gressent» (Париж, 1885 г.) —прекрасное, вполне практическое руководство, которое я смело рекомендую всякому практическому огороднику; Risler: «Physiologie et culture du blé» (Париж, 1886 г.): Leconteux: «Le blé sa culture du blé» (Париж, 1886): Leconteux: «Le blé sa culture intensive et extensive» (Париж, 1883 г): Eugène Simon: «La citê Chinoise»: «Distionnaird d'agriculture»: Wm. Fream: «The Rothemstead experiments» (Лондон, 1888) (обработка без унавоживания).

Самое растение представляет собою продукт терпеливого труда целых двух или трёх поколений садовников. Это — гамбургская разновидность, очень хорошо приспособленная к зимним холодам. Чтобы её дерево созрело, ей нужны морозы зимою.

Резюмирую данные, относящиеся к земледелию и показывающие, что жители двух департаментов — Сены и Сены с Уазой — вполне могут существовать на своей территории, отдавая ежегодно на своё пропитание очень незначительное количество времени, мы получим следующие цифры:

Департамент Сены и Сены с Уазой:

Число жителей в 1886 году — 3.600.000

Площадь, в десятинах — 549.000

Среднее число жителей на десятину — 655

Пространство обрабатываемое для доставления пищи жителям в (десятинах):

Хлебные растения — 180.000

Естественные и искусственные луга — 180.000

Овощи и фрукты — от 6.390 до 9000

Всё остальное (дома, пути сообщения, парки, леса) — 180.000

Количество труда, необходимое для улучшения и обработки этих площадей (в 5-ти часовых рабочих днях):

Хлеб (уход и сбор) — 15.000.000

Луга, молоко, разведение скота — 10.000.000

Огородничество, фрукты, составляющие предмет роскоши и т. д. — 33.000.000

Непредвиденные работы — 12.000.000

В общем — 70.000.000

Если предположить, что земледелием захочет заниматься только половина всех взрослых людей (мужчин и женщин), то эти 70 миллионов полудней придётся распределить между 1.200.000 человек, что составит *на каждого из работающих 58 рабочих дней по 5-и часов.*